

Александр БАЛТИН

# ГОФМАНИАНА

## Фантасмагория

Готические крыши старого города, красно-оранжевая черепица, острые, витые, тонкие шпили, пронзающие небо; слуховые окна, коньки... Мир переулков, загадочной суммой данный ниже; люди выходят из дверей, спешат по делам.

— Пауль! — кричит студент, завидя похожего прохожего.

Тот — длиннонос, худ, большеголов — останавливается, оборачивается, улыбается.

— Привет Тиллих, — отвечает невысокому, большеухому, спешащему к нему приятелю. — Привет, как ты?

— Да ничего хорошего, — отвечает мрачный Тиллих, пожимая протянутую — длинную и сухую — ладонь. — После того, как я был извлечён из волшебного сосуда маэстро, — куда ни ткнусь — сплошная неразбериха: то со змейками приходится говорить, то убегать от ожившего колеса...

Приятель не спеша идет по мощённому узкому переулку; в окнах разных зданий мерцают тени таинственных жизней.

— А ты придумай, — говорит Пауль, — собственный сосуд. Придумай, вырасти в нём свою реальность — и выпусти её наружу. Тогда не будет неразберихи.

— Да? — недоверчиво переспрашивает Тиллих. — Не приходило в голову. Впрочем, можно попробовать...

Они, мерно уменьшаясь, растворяются в узкой горловине переулка.

Большая птица, сидевшая на одном из многочисленных флюгеров и мнившаяся причудливым изделием, вздрагивает, покачивая головой, и, оказавшись совой, плавно слетает вниз, на брусчатку улицы, — не касаясь которой, превращается в человека — в длинном серебристом плаще и с такою же серебристою и длинною бородой.

Сделав несколько плавных шагов, человек подходит к двери — темной и узкой, открывает её и по лестнице спускается в помещение маленького кабачка.

За ближайшим столиком — толстый, как бочка, краснорожий мастерской наливается пивом, чуть дальше горланят песню два парня:

*Алхимик прав? Алхимик прав! —  
Нелеп телесный наш состав,  
И не хватает в нём вина,  
Поэтому — до дна, до дна...*

Дальний угол кабачка темноват, нововошедший устремляется именно туда, где за перегородкой сидит большеглазый, взъерошенный человек в белой, распахнутой на груди рубашке и узких чёрных панталонах, сидит и, периодически отхлёбывая из кружки, пишет, макая в серебристую солонку перо.

Белобородый садится напротив. Гофман не замечает его. Свеча на столе горит ярко, разбрызгивая золото бликов и обеспечивая игру теней. Одна из них — на стене — замирает, помаргивая глазками, но — не превращённая в птичку или карлика — исчезает тотчас.

— Тебе не надоело, Эрнст? — тихо спрашивает седобородый.

— И Теодору, и Амадею не надоело тоже, — отвечает Гофман, не отрываясь от бумаг.

— А где они?

— Да вот же — не видишь разве? — играют с тенью, обещающей стать музыкой.

— А если твоя солонка опустеет, и...

— Тогда, — вновь обмакивая перо в соль, говорит Гофман, — я замену её чернильницей.

— Фу, как скучно, прозаично...

Гофман отбрасывает перо, глядит на собеседника. В глазах Эрнста Теодора мерцают зеленоватые искры. Одна, легко скользя по столу, превращается в подобие маленькой морской каракатицы, и ускользает, но краснорожий, бочкообразный мастеровой у двери ловит её и, крикнув, съедает.

— А, это ты архивариус, — говорит Гофман, отрываясь от бумаг — несколько разочарованно.

— Я. А ты мог бы зарабатывать, превращая искры из собственных глаз в закуску — разную такую, забавную закуску.

— А зачем закуске быть забавной?

— Чтобы есть и смеяться. Представляешь — закуска, выполняющая две функции, будет и стоить в два раза дороже.

— Не дороже, чем моя соль.

Соль в солонке, точно слыша, что говорят про неё, вспыхивает, переливаясь нежно-золотистым оттенком, и гаснет, вновь становясь белой.

Внезапно Гофман смеётся.

— Что ты? — спрашивает архивариус.

— Так. Подумал просто — люди общаются с людьми, а я с солью.

— Что ж — волшебная соль на то и волшебная, чтобы с нею общаться. А теперь ты пообщаешься со мной.

Гофман смотрит на него, и искры, мерцающие в его очах, произведя занятное коловращенье, выскальзывают, и вот уже на столешнице исполняет кратенький танец небольшая система звёздочек.

— Ну, убери их.

— Сейчас сами исчезнут.

И верно — звездочки, оттанцевав, плывут к двери. Два парня, задремавшие было, вздрагивают, оживая:

— Гляди, гляди, — восклицает один.

Другой вскакивает, пытаясь поймать улетающие звёздочки. Это не удаётся ему — они серебряной пылью протекают сквозь стену.

— Эх, жалко, сети нет. Хозяйка, ещё вина.

Архивариус — видевший происходящее в общем зале не оглядываясь — говорит, улыбаясь:

— У тебя всё, как и всегда. Впрочем, другого я и не ждал.

— Ждать — значит тратить впустую реальность.

— Её предостаточно.

— Не-а... маловато. Поэтому приходится выдумывать свою.

Соль вспыхивает синеватыми лёгкими огоньками, и Гофман хватая перо и, воткнув его в солонку слишком сильно, выбрасывает несколько крупин на стол. Соль гаснет.

— Осторожно, — слышится тонкий голосок из солонки. — Больно же.

— Ха-ха, — смеётся архивариус. — Ты не пробовал писать вином? Ему никогда не бывает больно.

Гофман отхлёбывает из кружки.

Дверь кабачка открывается, и маленький, недовольный Тиллих, сначала просунув голову и оглядевшись, входит, спускается по лестнице.

Парни горланят:

*Голова моя пьяна  
После литрика вина.  
А твоя, дружок, ответь?  
С нами пей, царица-смерть.  
Не боимся мы тебя —  
Не страшней ты, чем судьба!  
Оп-ля, оп-ля, оп-ля-ля...  
Пусть же пьёт сама земля.*

Краснорожий мастеровой дремлет, горою заняв мощный основательный стул.

Один из парней машет Тиллиху, медленно пересекающему кабачок:

— Давай к нам, парень. Втроём веселей пить, чем вдвоём. Выпьем — и смерть убоится нас.

Тиллих изображает подобие улыбки и качает головой.

— К тебе гость, — говорит архивариус. — Договорим позже.

Он тает в воздухе, оставляя на миг серебристое свечение.

Тиллих заглядывает за перегородку, заходит, смотрит на Гофмана.

— Садись, Тиллих, — говорит тот. Тиллих садится — осторожно, будто не уверенный в прочности стула. — Что ты недовольный такой?

— Ну... пожалуй, да, недовольный. С тех пор, как вы извлекли меня из вашего волшебного сосуда, у меня одни неприятности. Хочу познакомиться с девушкой — глядь: передо мной змейка. Красивая, конечно, нежно-золотистая, и глазки такие рубиновые, но змейка же, а не девушка. Только окликаешь приятеля — он обращается в огромное, глазастое колесо, и хотя я знал приятеля добронравного, весёлого, колесо это преследует меня, катится, угрожает раздавить. Или вот...

— Подожди, Тиллих, подожди. Тебе интересней было пребывать в небытии?

— Не знаю, было ли небытием моё предшествующее состояние, я там плавал где-то — не в воде, а в мерцаньях, плавал...

— Там ты — не был ты. А теперь ты — определённая субстанция — ходячая, плотная; вот и пиво с мясом любишь, небось, и вообще...

— Вот именно вообще меня и не устраивает. Что оно такое это вообще? Крохотный волосок, дёрнув за который, ты получаешь оживающую белиберду.

— Это не белиберда.

— А что?

— Гофманиана.

— Пусть так. Однако посмотрите на это, — можно ли терпеть?

На стене появляется маленький экранчик, и, чуть расширяясь, играя нечёткими, будто опалёнными огоньком фантазий краями, он представляет зелёную, сочную поляну и куст бузины — явно где-то за городскими стенами — ибо на заднем плане — призрачно и расплывчато — мерцают стены города; и Тиллих, грустный, как всегда, обходя куст бузины, видит красивую девушку, которая тянется к ягодам — девушку в платье белом и с белыми же волосами. «Ой, какая вы...» — нежно бормочет он... Девушка тотчас обращается в одну свою, тонкую и изящную, руку, рука, скользя в дебри куста, блеснув золотистой зеленью, становится змейкой, чьи глаза вспыхивают рубиново, и змейка, легким зигзагом мелькнув, исчезает в системе веток.

Слышны голоса:

— Как вам это, маэстро?

— Всё логично. Ты вовсе не хотел знакомиться с нею. Просто выразил восторг. А маленькие изумрудно-зелёные змейки все очень пугливы.

— А вот это тогда?

На экране кусочек города возле лавки, неприятные городские окраины, где свалены бочки, ломаные колёса, рёбра старых телег. Возле этого ненужного деревянного хлама высокая фигура Пауля, и Тиллих, возникающий из проулка, кричит ему: «Пауль, Пауль, привет!» Тот оборачивается, и мерно начинает деформироваться, сжимаясь, подрагивая боками, и вот новое, с мерцающими в центре глазами, крепкое возникает колесо. «Ой! — восклицает Тиллих. — Ой-ёй-ёй!» Он кидается от агрессивно катящегося за ним колеса — глухо ухая, как сова. Колесо вращается само и вращает неистово открытыми своими, точно всевидящими, никогда не закрывающимися глазами. Тиллих бежит по проулкам старого города, мальчишки, гогоча, тычут в него пальцами, а седобородый архивариус, стоя у дверей кирхи, улыбается, будто знает происходящего суть.

Вновь слышны голоса:

— Но ведь ты же не пострадал!

— Нет, колесо разбилось о стену, разлетелось суммой мельчайших деревянных брызг, которые обратились в крохотных таких жучков. Я вынужден был собрать их и поместить в коробку и ношу её теперь всегда с собою. Но самое главное, что...

На экране два студента — Пауль и Тиллих — идут, разговаривают. Тиллих, обращаясь к Паулю:

— После того, как я был извлечён из волшебного сосуда маэстро — куда ни ткнусь — сплошная неразбериха: то со змейками приходится говорить, то убежать от глазастого колеса...

Голоса в кабачке:

— Он ничего не помнил, представляете, маэстро?

— Естественно. Он же и есть колесо. Просто временно ставшее студентом. А как

ты хотел? Все хотят учиться — даже колёса.

Экран на стене гаснет, закопчённый кирпич одной некрасив — точно отрицает собой всякое волшебство...

— Но вот что мне предложил этот Пауль. Или колесо, временно ставшее Паулем.

— Что же, интересно узнать.

— А вот, — лицо Тиллиха, кроме всегдашней мрачности, выражает ещё и напряжение. — А ты придумай собственный сосуд. Придумай, вырасти в нём свою реальность — и выпусти её наружу. Тогда не будет неразберихи. Как вам это понравится?

— А что? — улыбается Гофман. — Неплохой вариант. В конце концов — чем больше реальностей, тем интересней. Ты согласен?

— Может, я и согласен, но как же я осуществляю сие?

— Очень просто, — отвечает Гофман. — Я тебе помогу. Главное — твоё согласие.

— Пожалуй, я бы попробовал.

— Тогда...

Гофман производит пером в воздухе каббалистическую манипуляцию, и медленно, становясь струистым, Тиллих втягивается в солонку. В воздухе звучит его, точно освобожденный от бремени плоти, голос: «Так вот он — алхимический сосуд маэстро».

Гофман улыбается, красноватая искорка, выпорхнув из левого зрачка, превращается в занятную загогулину.

Из ниоткуда соткавшись, напротив маэстро возникает архивариус.

— Ловко у тебя с этим Тиллихом получилось, ничего не скажешь. Впрочем, другого я от тебя и не ждал.

— А что, — улыбается Гофман, — пускай теперь создаёт свою реальность, может, она у него будет лучше моей. И солонка, кстати, довольна, — соль вспыхивает зеленовато, но тут же гаснет, точно ожидая чрезмерного укола пера. — Однако, — Гофман мрачнеет, — коли ты появился тут, значит, у тебя ко мне...

— Да нет, просто хотел полюбопытствовать — не засиделся ли в кабачке? Не пора ли пройтись? Реальность, она, знаешь, не ограничивается пределами твоих фантазий.

— Пройтись? — и сомнение проскальзывает в голосе маэстро (тонкая змейка возникает, вьётся вокруг взлохмаченной гофмановской головы, но исчезает быстро, растворяется в воздухе). — Да, пожалуй, стоит. Глядишь, встретим подходящее колесо — подходящее для превращения ещё в какого Пауля...

Архивариус делает лёгкие пассы крупной белой ладонью и свеча, бумаги, кружка поднимаются в воздух, соединяются в Сатурново кольцо, кружатся, исчезают. Гофман прикасается к солонке, и она, превратившись в беленькую мышку, забирается к нему на ладонь, после чего маэстро, слегка погладив её, нежно убирает в карман.

Они встают, выходят в зал, уже опустевший — естественно вполне, без магических производных, — поднимаются по лесенке, бормочущей:

*Вот опять, вот опять  
Кого-то надо поднимать.*

И выходят в город.

— Прощайте, маэстро. Всё было чудесно, — слышится вслед.

— Кто это? — спрашивает архивариус.

— Будто не знаешь, — отвечает Гофман. — Дверь попрощалась.

Сумерки. Нежные силуэты крыш, флюгеров, шпилей; плавный, готический сад, наполняющий собою воздух.

Матрона, идущая навстречу двоим, обращается в крупный кувшин с ножками, наполненный молоком, и замедляет шаг, боясь расплескать содержимое.

— Перестань, — говорит архивариус. — Пусть спокойно дойдёт до дома.

Кувшин теряет очертания, снова становясь усталой матроной.

— А мы куда? — спрашивает Гофман.

— Ко мне домой.

— Ха-ха. Мало мне своего кабачка, ещё в твоих архивах пылиться...

— Ну ладно тебе, ты ж знаешь: эта пыль — серебряная пыль будущего. И стоит только прикоснуться к ней пальцем...

— Брось ты, нет никакого будущего.

— А сейчас ты убедишься, что есть.

— Ты и сам в этом не очень-то убеждён.

Два парня из кабачка идут им навстречу, обнявшись, напевая, уже тихонько, не как в кабачке:

*Тир-мур-так, тир-мур-так,  
 Нам самим цена пятак.  
 А была бы талер —  
 Серебром бы стали,  
 Чтоб пропить его легко.  
 Ни к чему нам молоко.  
 Быр-ли, мыр-ли, ла-гу-га,  
 Вот такая ерунда.*

— А хорошо поют, — говорит Гофман.

Они останавливаются у готических дверей двухэтажного дома, в сумерках кажется, что вместо стен у него — сумма разных существ, где, таинственно соединяясь, мелькают грифоны, лёгкие змейки, единороги...

— А это не кажется, — говорит архивариус, обращаясь в никуда. — Стены моего жилища и впрямь состоят из многообразья фантазий, уплотнённых алхимическим знанием....

Дверь открывается сама, без усилий со стороны пришедших, и приходяжая впускает их — высокая, готическая.

— Странно, почему твоя дверь не здороваается, — говорит Гофман.

— А ты научи её, — смеётся архивариус.

— Времени жалко, — отвечает маэстро.

Они поднимаются по лестнице, также хранящей молчанье и только слегка поскрипывающей, и входят в овальную комнату, интересно обставленную: реторты и колбы на столе, мерцанье зеленоватых перегонных кубов, а другой стол — поближе к входу — завален гроссбухами, перьями; медные витые чернильницы пусты; два кресла на гнутых ножках около стола... Толстый ковёр с причудливым плетеньем узора...

— Разве мы не в архив? — спрашивает Гофман.

— О нет, к чему нам. Садись.

Они размещаются в креслах, и Гофман, слегка поглаживая, вытаскивает из кармана мышку.

— Не можешь без своей мистики? — интересуется архивариус...

— Никогда, — отвечает маэстро, и мышка замирает возле раскрытого гроссбуха, превращаясь в солонку, и из неё медленно растёт перо...

— Ладно, — говорит архивариус. А такой сюжетец тебя не заинтересует? Кратенько — так сказать, выжимка. Погляди. Правда, не в твоей стилистике писан, ну да ладно, подправишь, если что.

Окно, увитое декоративным искусственным виноградом, ловко сворачивает его кольца, усики, листья, обращаясь в световое пятно экрана.

И возникает на нём кроваво-красная надпись:

#### ИЛЛЮЗИИ АВТОРА

Надпись, померцав, пропадает, и плывёт картинка вполне современного, незнакомого Гофману города, в котором:

Некто шёл вечером по городу; шёл, глядя на матовые шары фонарей, испускавшие синеватые струи света; шёл, выбирая переулки, не тронутые яркой пестротой агрессивной рекламы, — и чувствовал, как в груди медленно зреет гроздь будущего текста...

В одном из кривоватых и узких проулков, освещённом разве что квадратиками окошек — разноцветными, как монпансье, — навстречу ему двигался некто в помятой шляпе и чёрном демисезоне; и, когда сошлись они, первый растворил объятая, воскликнув: «Ты ли?!»

Кривая ротовая щель второго точно сигаретный дым выплюнула: «А то!..»

Пошли вместе, в направленьи, удобном первому. «И как ты после... нашей разлуки?» — «С тобой разлучишься, как же! Ты же автор! — это я следствие пролитых тобой чернил...» — «Да ладно! Я на компьютере печатаю». — «Мне-то что? Хоть на допотопной машинке стучи! Брожу по переулкам нагромождённого тобою романа, собираю пригоршни грёз, наблюдаю, как мимо пролетают трамваи...» — «А не хочешь зайти в пивную, посидеть, пивком обрадоваться?» — «Пожалуй, коли угощаешь...»

Крутой винтовой спуск — будто в трюм; брызги огней недорогого заведеньца, столы под морёный дуб; главное, в подземной этой пивной были уютные закутки — потлуше, потемней — в одном из которых и устроились писатель и его персонаж, заказали пиво, креветок. Скоро поданные морские гады исходили паром, как соком, радовали розоватостью тугих тел, а чёрные шарики их глаз тупо буравили автора... «Эй, персонаж?» — «Тут я!» — отозвался, прихлёбывая, не снявший шляпы, мрачный

персонаж. «А ведь знаешь, — молвил автор, — это же я в себя опускался — поглубже пивной будет — чтобы достать тебя, снабдить терпеливой кровью, вылепить твою плоть...» — «Просиля тебя, что ли?» — «Аль по нраву тебе небытие?» — поинтересовался автор, вышедшая толстую кривую из мягкой природной обёртки. «А не знаю. Не помню я. Но и бытие моё условно — всё в пределах страниц...» — «Ирреальность, запредельность — мои любимые понятия», — говорил автор, закуривая, и сизый дымовой завиток, попав ему в правый глаз, вызвал слезу, отчего персонаж растёкся, расплылся, будто стремясь изойти дымом...

На восьмой кружке автор, вознегодовав, хватил персонажа толстым пивным стеклом и, глядя, как кровь, окрасивши кружку, пролилась каплями на стол, думал, что ничего этого нет: ни пивной, ни персонажа, ни убийства.

Может быть, даже нет и его самого — автора.

Экран гаснет, обращаясь в окно, и архивариус, крутнув пальцами в воздухе и поймав из него графин, наливает в два стакана, ловко вытянувшихся из солонки Гофмана, вино.

— Ну как тебе сюжетец? — спрашивает архивариус, отхлёбывая.

— Да банальный, — также отпивая вино, отвечает маэстро. — Сколько раз уже было... Кстати, а во что это они одеты? И где готика в их переулке?

— А это и есть будущее.

— Которого нет?

— То самое...

Гофман допивает стакан, и архивариус услужливо приподнимает графин, но Гофман жестом показывает — хватит, мол, не надо.

— И кровожадный автор какой-то... Зачем же персонаж — и кружкой по голове?

Архивариус — никак не реагируя на это замечание — говорит:

— А что? Не хочешь воспользоваться моим окном? Непростое оно, как ты понял...

— Да? Вместе пойдём?

— А то как же? Один ты заблудишься. Вина на дорожку?

— Не стоит.

Они подходят к окну, приветливо раскрывшемуся и тонко пропевшему рамой:

*Добро пожаловать в грядущее,  
Хотя оно вполне игрушечно.*

И видят тугую белую дугу, простёршуюся за ним.

Легко воспарив, делают по дуге несколько шагов, и ворота возникают — тоже белые, лёгкие (а готический, столь любимый Гофманом город, мерцает внизу — нечётко, сквозь белую пелену), и входят они в ворота, и ступают на асфальт, серая лента которого вьётся между высокими кирпичными домами, домами, непривычными для маэстро; стекляшки кафе возникают, горят огни реклам, и сумерки те же, как будто принесли их с собою...

— А что это под ногами? — спрашивает Гофман.

— Асфальт называется.

— И чем он лучше брусчатки?

— А ничем. Просто так теперь принято. Ну, куда зайдём?

— А куда можно?

— Может, и никуда. А может, куда угодно. Давай к пареньку, возмнившему себя поэтом и сочиняющему в память твою стишки.

— Да неужели?

— А как ты хотел? Гофманиана бушует...

— Ну-ну. Надеюсь, здесь нет скучного Тиллиха.

— Где-нибудь наверняка сидит — в складках времени. Но — к делу.

Они входят в одну из дверей длинного, блочного, розоватого дома, причём архивариус замечает:

— Не жди, не поздороваешься! — и Гофман хмыкает понимающе. Вызывают лифт, тот с медленным гудением спускается с верхотуры; и, поместившись в кабину, поднимаются.

— Тебя не удивляет эта штуковина?

— А что тут удивительного? Просто подъёмник. Фантазии, знаешь, поднимают выше.

На шестом этаже выгружаются из кабины.

— Не будем беспокоить, — говорит архивариус. — Пройдём сквозь стену.

Маэстро соглашается, кивнув.

Современная, заурядная, ничем не примечательная комната, с мебелью старой,

тёмно-коричневой и диваном — продавленным и уютным; а за столом, у монитора — лохматый парень в синей майке и синих же спортивных штанах, бормочущий:

— Так... ладно... не то опять... а если... вот же ты мне: алхимия строчек, все мозги проела! Ладно, ещё один вариант...

Он стучит по клавиатуре. Гофман и архивариус стоят у него за спиной. Он не чувствует их, продолжая нервно колотить по клавишам.

— Ладно, ничего вроде. Ну!

Декламирует, не отходя от экрана:

#### ПАМЯТИ ГОФМАНА

*Фантазия взрывает ум.  
И Гофман жив гофманшаной —  
Весёлой, в чём-то окаянной,  
Где чудеса заводят шум,  
Где превращается предмет  
В то, что совсем не ожидаешь.  
Ветвится лабиринт-сюжет,  
Куда ведёт — не представляешь.  
И Гофман пьёт. Он одинок,  
Он в сад волшебный попадает,  
Где одиночества росток  
От бед возможных исцеляет.*

— Кажется, получилось. Или нет? С этими стихами никогда ничего не поймёшь. Сам Гофман вроде их не писал... Или писал, не помню...

— Писал когда-то, — мелодично замечает Гофман, но парень не слышит, увлечённый собственным стишком.

Крохотный человечек стишка — тоненький, точно скрученный из проволоки, соскакивает с экрана и, исполнив загадочный танец, ловким пируэтом заскакивает к Гофману в карман.

— Ах, — вздрагивает Гофман, — я же забыл свою мышку-солонку, свой волшебный сосуд.

Человечек в кармане ворочается, тонко пищит:

— Может, я сгожусь, а?

— Нет, — отвечает маэстро, — ты не владеешь её навыками.

Парень снова правит стих, беззвучно шевеля губами.

— Мы не будем с ним знакомиться? — интересуется Гофман у архивариуса.

— Нет, — отвечает тот. — Не стоит мешать человеку сходить с ума.

— Тогда?..

— А так же пройдем сквозь стену и на улицу, на улицу...

Они стоят на улице.

— Отцы, — некто обращается к ним — тяжёлый, пьяноватый, — Закурить не выручите?

— Нет, любезный, увы, трубку я позабыл, — говорит Гофман. — Да и табаку нет.

— Трубку? Табаку? Чокнутые какие-то...

Мужичок, дико озираясь, исчезает под аркой.

— Зайдём во двор, — предлагает архивариус.

Песочница. Лает собака. В домах зажигаются огни.

— Скучно, — говорит Гофман. — И готики не хватает.

Человечек стишка в кармане ворочается, пищит:

— Тут дома выше всякой готики.

— Ах, ты со мной, — вспоминает Гофман. — А какие там были стишки? Можешь воспроизвести?

Он вытаскивает руку из кармана, и проволочный человечек пляшет на ней, превращаясь в загогулины слов, вспыхивающие в воздухе.

— Во, оказывается я попадаю в волшебный сад, где одиночества росток...

Из асфальта, пробив его и веерообразно раскидав его лоскутки, поднимается красивый довольно, синеватый росток. Цветок, раскрывшийся на вершине, говорит:

— Привет, Гофман.

— Что за панибратство, — возмущается Гофман.

— А как ты хотел, — изрекает доселе молчавший архивариус. — Это же твоё одиночество.

— Всё же лучше волшебный сад. Пойдём домой. Это будущее жмёт, как неудобный сюртук.

Они, пройдя под аркой, покидают двор.

— Кстати, — спрашивает архивариус, — а тебя не удивил способ письма того парня?

— Горящая белым цветом плита перед ним? Не-а... я много напридумывать разных штук могу. Ну, где она — дорога твоя?

— А везде, — архивариус делает жест рукой, и зыбкая дуга дороги, вспыхивая у мостовой, возникает легко и свободно, а быстренькие легковушки ныряют в неё, проносясь мимо...

Та же комната в доме архивариуса, тот же вид из окна; архивариус спускается плавно, а Гофман спрыгивает шустро, как мальчишка.

Солонка на столе, чуть померцав золотисто, издаёт печально:

*Где же были вы, маэстро?  
И насколько там всё чудесно?*

— Вот и она стихами! — раздаётся писк из кармана гофмановских панталон.

— А, я тебя захватил с собою! — спохватывается Гофман и вытаскивает крошечного человечка стишка. — Вот, — выпускает его на столешницу, — может, подружитесь.

Человечек стишка нежно, как тощенькая кошка, сворачивается около солонки.

На подоконнике, мерно соткавшись из воздуха, возникает милая розовая кошечка.

— А ты зачем? — говорит Гофман.

— Ну ты же подумал о кошечке, — отвечает архивариус, удобно устроившись в кресле, — вот и получи, — Гофман садится напротив. Наливает вина. — Мне бы тоже следовало налить, — говорит архивариус. — В конце концов, именно я показал тебе...

— Да ладно, — прерывает Гофман, — кошечка спрыгивает с подоконника, урча, пересекает комнату, забирается маэстро на колени. — Сам знаешь, — продолжает Гофман, — мы с тобой единое целое.

— Как Пауль и Тиллих?

— Во-во.

— Интересно, а кошечка у нас говорит?

Кошечка поднимает умненькую, усатую мордочку и отвечает мелодично:

— Раньше я разговаривала только с грифонами. Но теперь могу и с вами поговорить, маэстро...

— А что рассказывали тебе грифоны?

— О, разное — кстати, один из них заглядывает в окно.

— Неужели?

Гофман оборачивается и видит: круглое, брыластое лицо и нервно подрагивающие, тонкие, как у эльфа, ушки.

— Здравствуй, кошечка, — говорит грифон.

— А с нами поздороваться не надо? — изрекает архивариус, ставя на стол опустевший стакан. — В конце концов, ты же просто из моей двери.

— Здравсти, здрасти, — спохватывается грифон. — Только вы ошибаетесь — я не из вашей двери, скорей из Фейсбука — там таких гибридов наплодили...

За первой головой грифона растёт вторая — зыбкая, она покачивается слегка, контурами повторяя первую.

— А что это — Фейсбук? — спрашивает Гофман, поглаживая кошечку.

— О, об этом хорошо бы рассказали наши Пауль и Тиллих. Или Пауль Тиллих — если срастить их вместе.

— И всё же что это?

— Если ты не устал, — говорит архивариус, — давай отправимся на лекцию.

— Куда? Что они, уже лекции читают — эти Тиллих и Пауль? Они же студенты только.

— Это здесь они студенты. А в другом измерении — совсем нет. Не студенты, в общем. Ну что, полетим?

Крошечный человечек стишка, перестав быть похожим на тощенькую кошку, вскакивает, раскручиваясь, оживает, пищит:

— А они читают лекции в стихах?

— Нет-нет, — отвечает архивариус. — В стихах — это несколько авангардно. А они — редкие ретрограды.

— А как мы отправимся туда? — интересуется маэстро.

— На грифоне, конечно, — говорит кошечка. — На одном из них.

— Я бы и не повёз никого, — обижается второй. — Я вообще никого не люблю возить. Я сам люблю летать. И растворяться в воздухе.

И правда — он медленно тает, и воздух за головой первого грифона исходит лёгким

свеченьем, а потом делается обычным — сумеречным.

— Всё сумерки и сумерки, — замечает Гофман. — Ночи не будет, что ль?

— Нет, — говорит архивариус, поднимаясь. — Ну, кто летит?

— Я точно нет, — отвечает кошечка. — Я пока персонаж проходной. И вообще пора возвращаться в чудесный мир двери архивариуса.

— А я тебе там не пригожусь, — уверенно речёт солонка.

— А я, а я... — пищит крохотный человечек стишка...

— Да ты, понятно. Полезай в карман.

Человечек стишка, издав неопределённый звук, ловко ныряет в карман панталон маэстро.

— Итак, — говорит архивариус — несколько более важно, чем обычно, — все готовы.

— Прошу, — столь же важно изрекает грифон.

Он разворачивается в воздухе, у окна, и сначала архивариус, а затем и Гофман забираются к нему на спину...

— А она у тебя мягкая, — удивлённо говорит Гофман.

— Ещё бы! — довольно подтверждает грифон. — Она же из поролона фантазий.

Они медленно летят над городом — всё так же сумеречным, окутанным сероватой световой сеткой, минуют шпиль — один, второй, третий, — глядят на черепицу вниз.

— А куда мы? — спрашивает Гофман.

— В волшебный сад, где вместо деревьев растут здания, в каждом из которых люди тщатся постичь истину. Не более и не менее.

Человечек стишка пищит из кармана:

*В сад летим — волшебный сад*

*Дарит знанья аромат,*

*Как я рад, ох, как я рад...*

*Там увидим мы цветы*

*Совершенной красоты,*

*Я и ты — о, Гофман — ты...*

*Там отведаем плоды*

*Запредельной вкусноты.*

*Тю-лю-ли и ти-ли-ли...*

*Запредельной вкусноты.*

*Ну а если плод гнилой?*

*Просто выплюнем с тобой —*

*Плюну я, и плюнешь ты*

*Несъедобные плоды.*

*Несъедобные плоды*

*Плюну я и плюнешь ты...*

— Ох, замолчи, пожалуйста, — говорит Гофман.

Песенка прекращается. Из кармана раздаётся обиженное сопенье.

— И не делай вид, что обиделся. В конце концов, сам напросился из этого своего — будущего.

Внизу — сквозь белое, туманное марево — открывается поляна, увеличиваясь по мере снижения грифона; поляна, на которой на огромных — зеленоватых, серых, коричневых стеблях — покачиваются вполне серьёзные дома — иные с готическим колоритом, другие — изъятые из современности.

— Не стоило обижать маленького, — говорит архивариус. — Пусть бы пел свою песенку.

Человечек стишка выглядывает из кармана панталон.

— Уж очень нудно он пел, — говорит Гофман. — Впрочем, ты прав: обижать маленьких — даже если они несут ерунду — плохо.

И указательным пальцем он гладит головку крошечного человечка, и тот улыбается, на мгновение вновь становясь похожим на кошку — только крошечную.

— А куда нам?

— Выбирай.

— Но ведь надо туда, где Пауль и Тиллих болтают об этом... как его...

— Фейсбуке, — пищит крошечный человечек стишка.

— Вот-вот.

— А они будут везде — куда ни зайдём. Вернее, куда ни влетим. Эй, грифон, — обращается архивариус к их одушевлённому транспорту, — ты не разучился делаться невидимым?

— А сами-то... — сопит обиженно грифон.

- Что за день такой, – восклицает Гофман. – Все обижаются.
- Обычный день гофманианы, – отвечает грифон. – Так куда вас?

Дома уже велики, разнообразны, и грифон плавно движется по воздуху – точно плывёт меж стен; огибает медузообразные купола, минует столь привычные Гофману шпиль, один из которых бросает маэстро:

*Здравствуй, Теогор, – я шпиль,  
Что – как твой – изящен стиль.*

– Вот ещё! – возмущается Гофман. – А впрочем, почему бы и нет? Нечто общее правда имеется – этакий контур сходства.

- Так куда? – спрашивает грифон серьёзно.
  - Сюда, – не менее серьёзно отвечает архивариус.
- Щёлкнув длинными, серебристыми пальцами, он произносит:

*Три, четыре –  
На три невидимки больше в мире.*

Из кармана панталон маэстро раздаётся возмущённый писк:

- Как на три? А меня не посчитали?
- Ты прав, – замечает архивариус. И произносит:

*Три, четыре –  
На четыре невидимки больше в мире.*

Аудитория – отчасти современная, отчасти готически-старинная. Студенты, занимающие амфитеатр; некоторые в мантиях чёрных, иные в джинсах, рубашках и пиджаках. На кафедре – крепкого сложения, среднего роста профессор, мрачный и длинноносый, с поднятой вверх правой рукою.

Розовато-серебряное мерцанье возникает возле одной из стен и тут же рассеивается, не оставляя в воздухе и следа.

– Итак, – говорит Пауль Тиллих, стоящий на кафедре. – Волшебный квадрат призван объяснить прошлое и предсказать будущее. Подчёркиваю – возможное будущее, а не то, что произойдёт непременно.

- Можно вопрос, профессор?
- Пожалуйста.
- Значит, будущее бывает двух родов?
- Вообще-то больше, чем двух, но мне известны только два...

Писк раздаётся из ниоткуда:

*Только два, только два,  
И зачем ещё слова?*

– Так, – изрекает Тиллих недовольно. – Говорящей мыши мне только не хватало. Тишина, повисая в воздухе, мерцает серебряными дугами.

– Хорошо, – возглашает Тиллих. – Ис тишиной, конечно, можно разговаривать, но лучше будем в привычном ключе – со студентами. – Итак, волшебный квадрат, – он щёлкает пальцами, и в пространстве над кафедрой повисает ярко-красный квадрат, изнутри заполненный чем-то переливающимся, синим. – С определённой точки зрения, которая в сущности есть кочка преломления, он не существует вообще, и то, что вы видите, не более чем проявленная фанаберия. Но – если учесть, что никто не знает, что такое фанаберия, – квадрат этот более реален, нежели сама реальность. Итак – люблю я это словечко – итак, мы попросим его – только вежливо, иначе ничего не получится, – продемонстрировать вариант возможного будущего. Просим вас, досточтимый квадрат.

Хор студенческих голосов звучит достаточно стройно:

- Просим. Просим.

Линии и полосы бегут по синеватому полю, их сменяет дрожащий беловатый дождь, внутри которого начинают появляться, проявляясь на миг – не более – лица; на миг – но кого тут только нет: прыщавый подросток и пожилая матрона, сосредоточенный священник и толстомордый торговец, профессор с худым, вертикальным лицом и некто, мающийся с похмелья; лица мешаются, напалзают друг на друга, сливаются в одну – похожую на тесто – массу, и вот по ней бегут закорючки буковок, бегут быстро, тонкими и волосатыми лапками цепляясь друг за друга, между ними мелькают

картинки — пёстрые, как радуга; и даже математические формулы — рогатые, как улитки, и строгие, как врачи, — появляются иногда...

Покашливание в аудитории свидетельствует о растерянности...

— Э-э-э, — тянет некто.

— Что это, профессор?

— Да, да, нам непонятно.

— Поясните.

Многие звучат голоса.

Тиллих щёлкает пальцами, и сложное изображение прекращается, уступая место синеватой ровной поверхности внутри натяжения красных рамок.

— Это, — возглашает Тиллих, — так называемый Фейсбук, где каждый — подчёркиваю каждый — может писать, что ему хочется, размещать любые фотографии, выкладывать математические формулы и высказывать своё мнение о подлинном устройстве мира.

— Но, профессор, — долговязый парень поднимается от волнения, — разве можно всем давать одинаковое право высказываться?

— Кто его знает... — Тиллих трёт лоб, точно в растерянности. — С одной стороны... Впрочем, одна — она же и вторая сторона одновременно. Такая, знаете, иллюзия равенства, принцип очереди — где не важно, кто ты по сути, но главное, что ты в ней стоишь. В общем — занятная штука. И если бы вы все оказались в будущем, вы бы были активными — я уверяю вас и подчёркиваю это слово: активными — пользователями Фейсбука. Но это — будущее возможное. А теперь попросим наш уважаемый квадрат представить нам будущее невозможное.

— А зачем?

— Как? Разве не интересно, что могло бы быть, но не случилось? В любом случае, я считаю необходимо попросить...

Студенты — дружно:

— Просим, просим.

Вновь на экране квадрата бегут полосы — рыжеватые, с изумрудными точками, затем возникают лилии — белоснежные, естественно, — распускаются; их много, сумма их лепестков сливается в сплошную белизну, которая мерцает некоторое время, а потом... Среди чудесного сада бродят люди — белоодежные, красивые, беззаботные, мужчины и женщины с одинаково счастливыми — но совсем не одинаковыми лицами... И музыка слышна — нежная-нежная, не сочинённая никем на земле.

— После того, как был разгадан Тетраграмматон, — говорит чудесная девушка, — жизнь из материальной плотности перетекала в чудное свечение чистого духа, и хотя мы и сохранили формы тел, но в сущности мы есть производное от беспримесной любви духа...

— Да, дорогая моя, — отвечает ей мужчина, чем-то похожий на Гофмана, — вы тонко поняли суть распределительных сил...

Тот же долговязый студент, вскакивая, спрашивает, обращаясь неведомо к кому:

— Позвольте, а это, по-моему, Гофман! Я читал его книги, его волшебные, золотые, переливающиеся книги. Но он умер давно, что же он делает в будущем?

Квадрат обиженно фыркает, гаснет, синева исчезает из серединки, и, медленно бледнея, гаснут и красные рамки.

— Разве можно так, — восклицает Тиллих. — Вы всё испортили! Второй раз мне не удастся проявить в реальности волшебный квадрат.

Из пустоты раздаётся голос:

— Зато могу проявиться я.

Гофман возникает из ниоткуда, спускается по лестнице студенческой аудитории и восходит на кафедру.

— Вы, маэстро? — удивляется Тиллих.

— Я. Как видите, и вовсе не умер.

— Не умер, не умер, не умер, — шелестит студенческая масса, будто ветер пробегает по ней.

— Я не только не умер, — говорит Гофман. — Но это я создал тебя, если позабыл, — Тиллих, тебя и Пауля. Ну-ка, — он щёлкает пальцами, — разойдитесь.

Тиллих раздваивается — появляется длинный, худой Пауль и маленький, мрачный Тиллих.

— Вот видите — вас двое. И вы — один.

— Как будущее, — восклицает студент...

Аудитория разражается хохотом.

Тиллих удивлённо глядит на Пауля, Пауль взирает на Тиллиха несколько презрительно.

— Друзья мои, — восклицает Гофман, — проявитесь скорее...

У стены возникает парящий грифон, архивариус стоит возле, улыбаясь загадочно. Из кармана панталон маэстро раздаётся писк:

— А я давно уже здесь.

— А, — восклицает Тиллих, — вот кто это пищал...

— Только не делай вид, — обрывает его Гофман, — что ты понял, кто это...

Писк — резкий — из кармана:

*Вот и будущее вам —  
По делам всем. По делам.  
Что, несчастные, творили.  
То — хи-хи — и получили.  
Получили то, грузья,  
Что вам изменить нельзя.*

— По-моему, — говорит Гофман, озирая удивлённую аудиторию, недоумевающих Пауля и Тиллиха, — нам пора.

Легко воспарив, архивариус оказывается на спине грифона, а Гофман присоединяется к нему более прозаично — спустившись с кафедры, поднявшись по лестнице.

— Прощайте, плоды фантазии, — говорит Гофман замершей аудитории. — Прощайте.

Из кармана его несётся писк:

— Прощайте, прощайте...

И вновь они парят на грифоне — розовато переливается тот на фоне нежно-сереющего неба; на спине грифона проступает милая рожица, исчезает, появляется вновь...

— Смотрите, смотрите, — пищит крошечный человечек стишка, — кто это?

— Это кошечка, — отвечает грифон. — Соскучилась киска всё время таиться в недрах двери.

— А у двери есть недра?

— О, конечно, и ещё какие! Богатейшие недра, с залежами фантазий, среди которых порхают жасминные феи и горят вавилонские фонари.

— А как это, — интересуется маэстро, — жасминные феи и вавилонские фонари?

— Жасминные феи, — отвечает грифон, а архивариус мудро улыбается, — живут в кустах жасмина и зажигают в них вавилонские фонари.

— А чем они отличаются от обычных? — спрашивает Гофман.

— Только тем, что их никто никогда не видел, — отвечает грифон.

— Однако, — прерывает их архивариус, — надо решить стоит ли нам залететь ещё в какой дом, — он обводит жестом многообразье строений, между которых лежит воздушный путь грифона. — Или — домой! Домой!

— Домой, домой в мой писк родной, в мой дом цветной, в стишок любой, — пищит человечек стишка из кармана.

— Тише ты, — восклицает Гофман и тут же, испугавшись, не обиделся ли маленький, добавляет: — Просто пиши потише. А рифмовать можешь и дальше.

Но человечек стишка смолкает вовсе.

— Итак? — интересуется архивариус.

— Я не знаю, — честно отвечает Гофман. — Внешние впечатления едва ли интереснее внутренних — сегодня я в этом убедился лишний раз. Однако всё ж не совсем безынтересно, что таится под этим медузу напоминающим куполом...

— Грифон, — говорит архивариус, — ты не знаешь?

— Я не знаю, — отвечает грифон, не поворачивая головы. — Но наученный опытом твоих домашних стен и двери, готов поверить, что там может быть всё что угодно.

— Тогда залетим, — за всех решает архивариус. — Сквозь медузообразный, массивный, сверкающий купол. Тем более, что купол, если бы мы говорили на русском, а мы на нём и говорим, — рифмуется со словом «кукол», — а куклы, мало того, что любезны любезному нашему Гофману, ещё и напоминают всех нас.

Так вот — через этот красивый купол они, превратившись в лиловатый дождик, просочились внутрь, где собрались вновь в путешествующих на грифоне.

— Ух ты, — воскликнул этот последний, — а тут, оказывается, сады!

И действительно — под куполом — и тут вовсе ни при чём несоответствие объёмов — помещались разнообразные, густые, напользающие друг на друга сады; они вздымались ярусами вверх и снова опадали, переливаясь, словно павлиний — огромный только — хвост.

Грифон стал снижаться — медленно, кругами.

— Ух ты, — восхитился он, — глядите-ка, тут и диван огромный поставили. Прямо для меня.

— Почему для тебя? — полюбопытствовал Гофман.

Грифон опустился уже на мягкую ровную поверхность, напоминавшую и землю, и мечты. И ссадил своих седоков. Действительно — уютно розовея возле огромной, теряющейся в высоте стены — стоял диван.

— Ну что такое грифон, — стал философствовать грифон, — это «гри», которым, в сущности, мы можем пренебречь, и «фон», в который я обращаюсь, чтобы не мешать досточтимым путешествовать. Посплю чуток. Или с кошечкой пообщаюсь.

Нежная мордочка проступила на спине грифона, улыбнулась и вновь исчезла.

А Гофман и архивариус двинулись в сады.

Первый — туннелеобразный — раскрылся массой жасминовых кустов, из каждого из которых доносилось лёгкое шелестение, невнятный шёпот.

— Наверное, — предположил Гофман, — это и есть жасминные феи, о коих говорил грифон.

— Точно они, — пискнул человечек стихка из кармана.

— Ты больше не хочешь рифмовать? — неожиданно спросил его архивариус.

— Не-а, — ответил человечек. — Что-то тоже подремать охота.

— Разве стихи спят? — удивился Гофман.

— Некоторые обязательно. А то — растеряют силы и не будут звучать.

Жасминные феи шелестели, шептали; одна, змейкой показавшись из недр куста, сверкнула рубиновыми глазками и спросила:

— А как там Тилих?

— Тебе лучше знать, — ответил Гофман. — Оставалась бы девушкой и могла с ним общаться.

— Вот ещё! — фыркнула змейка недовольно. — К тому же ты сам сделал меня такой. Я уж и сама запуталась, кто я — девушка, рука девушки или змейка.

Из другого куста высунулась белая, изящная девичья рука. Она раскрылась, протягивая путешественникам яблоко.

— Яблокам не полагается расти на жасмине, — сказал архивариус строго.

— Которые поэтические — тем полагается, — ответил неизвестно кто из куста, и рука пропала.

Дальше был сад вавилонских фонариков — они горели красным, синим, фиолетовым, лиловым, маня, призывая — но стоило протянуть к ним руку или просто помечтать о них — тотчас гасли. Правда, вспыхивали другие, продолжавшие игру.

— Э-э-э, — сказал им Гофман. — Вы же не карты. Нечего играть. Покажитесь, какие вы есть.

И весь сад засиял, заблестал, представляя деревья, переходящие в зданья, и зданья, сквозь которые прорастали деревья.

— Вот это да, — восхитился Гофман. — Всегда любил архитектуру.

— Да? — произнёс архивариус недоверчиво. — А я думал, ты любишь музыку.

И следующим возник музыкальный сад — он звучал гаммами, какие свивались в круги сонат, а те разворачивались панорамами симфоний, и при этом нигде не было какофонии, но всё было стройно, ладно, великолепно...

Нежные, небольшие куколки звуков, напоминавшие эльфов, выходили на дорожку перед путниками, кивали им, предлагали серебряные колокольчики.

Гофман взял один.

Архивариус отказался.

Человечек стихка, уставши дремать, выскользнул из кармана панталон, схватил колокольчик, чуть меньше его самого, и вновь забрался в карман.

— Э, — запротестовал Гофман, — он будет упираться мне в бедро.

— Не будет, — ответил человечек стихка уверенно. — Я растворю его в звуках слов.

И верно — ничто не мешало маэстро идти.

Однако за пределами музыкального сада он забеспокоился:

— Не потеряем ли мы грифона? — спросил он у архивариуса.

— Нет, — ответил тот. — Своего грифона невозможно потерять. Он всегда будет рядом, как фон.

И верно — стоило им дружно посмотреть налево, как они увидели высокую, теряющуюся в собственной верхотуре стену, возле которой стоял диван, и на нём — мирно спал грифон.

— Пора его разбудить, — рёк Гофман.

— Тебе уже надоела наша прогулка? — поинтересовался архивариус. — Хочешь вернуться?

— Я всегда хочу вернуться, — ответил маэстро. — Ибо смысл пути только в этом и состоит — в возвращении.

— Ну, тогда будим его, — пискнул человечек стихка. И завершал:

*Наш грифон, наш грифон,  
Покидай скорее сон.  
Полетим домой скорей  
Из страны жасминных фей.*

— Почему только фей? — удивился Гофман. — Тут много всего, кроме них.  
— А ничего больше со «скорей» не рифмуется.  
— Ну, если так... — развёл руками Гофман.  
— Только так, — ответил человек. — Вообще насчёт рифм — лучше всего обратиться к Винни-Пуху.  
— А кто это?  
— Это мишка такой. Его придумали после тебя. То есть ты не знаешь, — пояснил человек. — Но он про рифмы знал всё.  
И Гофман согласился, кивнув головой, что может быть существо, которое про рифмы знает всё.  
Грифон, услышав голоса, приоткрыл один глаз, потом второй, зевнул — естественно, сладко, как умеют все грифоны, и спросил:  
— Уже нагулялись?  
— Да, — за всех ответил архивариус. — И хотим лететь домой.  
Грифон сполз с дивана.  
— Удобный, — констатировал он.  
Путешественники устроились на грифоне не менее удобно, чем тот — на диване.  
— Ты такой же удобный, — сказал маэстро.  
— Это комплимент? — спросил грифон.

*Комплимент, комплимент —  
Сладкий звуковой момент!*

Заверещал человек стишка.  
— Да погоди ты, — сказал Гофман, но сдержанно, чтобы не обидеть маленького.  
И — уже обращаясь к грифону: — Да, это комплимент.  
— Я так и думал, — молвил грифон, улыбаясь.  
Кошечка, проступив аккуратненькой мордочкой у него на спине, мурлыкнула:  
— Я тоже люблю комплименты.  
И пропала тотчас.  
Грифон взлетел, и все они, обратившись в муаровое облачко, легко проплыли сквозь купол.  
Таинственный мир оставался внизу, всё так же сумеречно исполняя архитектурную фантазию. Они поднимались выше и выше, и вот уже не зданья разнообразные были видны, но причудливые растенья, шевелившие лапками, а потом всё скрылось в приятной дымке мечты.

И вот Гофман идёт по любимой улочке любимого городка. На маэстро синяя расстёгнутая куртка, и рубашка белеет под нею, а панталоны черны. В глазах у Гофмана зажигаются искорки; одна фиолетовая выпархивает, играя и переливаясь, рыбкой вытянутой формы проплывает чуть-чуть вперёд и, обернувшись к маэстро хитренькой мордочкой, говорит, тонко и нежно:  
— Я бы познакомилась с крохотным человечком стишка. Он такой забавный.  
— Ах! — восклицает маэстро, — я забыл его дома, в этой моей убогой комнатёнке... как же он там... бедненький...  
Рыбка, взмахнув хвостом, растворяется в воздухе.  
Архивариус, незримым силуэтом следуя за маэстро, произносит вполголоса:  
— Бедный, бедный Гофман... — и улыбается нежно.  
Гофман открывает дверь любимого кабачка, и дверь поёт:

*Здравствуй, Гофман,  
Труд твой горек.  
Пей, мечтай —  
И будет рай.*

— Почему горек? — возражает Гофман, ступая на лестницу. — А рай я всегда ношу с собой. Так удобней — не потеряешь. Впрочем, дверь, спасибо за пожеланье.  
Кабачок пуст. Бело-фарфоровая кабатчица сучает за стойкой.  
— А, это вы, маэстро, — протягивает она. — А у меня сегодня никого, — и, лу-

каво поглядев на Гофмана, говорит: — Может быть, вы наполните моё заведение посетителями? А то так и разориться можно?

— Милая Фортуна, — отвечает маэстро, — нету средства разориться вернее, чем промечтать всю жизнь напролёт. А персонажи, какими я мог бы наполнить ваш кабачок, — сотканы из мечтаний...

Фортуна улыбается, наливая в кружку пиво.

— Впрочем, один посетитель есть, — говорит она. — Но, знаете, он сидит там, где обычно сидите вы — за перегородкой. Он сказал, что вы не будете возражать, но не заказал ничего, совсем ничего — ни пива, ни вина. Только свечу.

— Хорошо, — отвечает маэстро, принимая кружку. — Пойду, посмотрю, кто это.

Свеча на тёмном столе морёного дуба пылает ярко, освещая грустного человека с тонким птичьим носом и большими, очень тревожными глазами. Человек черноволос, одет в партикулярное платье непривычного Гофману покроя, и перед ним, уютно и основательно, как всегда, располагается волшебная солонка — та самая, что была известна Тиллиху как сосуд.

— Ах, она на месте, она проявилась перед вами! — восклицает Гофман, присаживаясь.

— Здравствуйте, — отвечает человек, обращая к Гофману свои печальные глаза. Но искорки не зажигаются в них, нет-нет. — А я не знаю, что думать — может быть, она моя, может, ваша. Может, вообще ничья.

— Она ничья, конечно, — отвечает Гофман. — Но проявляется только перед людьми мечты. И людьми пера.

— Да, я и есть такой, — отвечает незнакомец. — Только мечты мои грустны.

— А вы выпейте пива, — говорит Гофман дружелюбно, чувствуя душевное расположение к этому человеку. — Или вина.

Он делает большой глоток.

— Что вы. Я вообще никогда ничего не пью. Даже чая.

— Ой? — восклицает маэстро удивлённо. — Так бывает?

— Бывает, представьте. Мне не надо изменять сознание. Совсем. Оно у меня и так всё время изменено. И по ночам ко мне прямо в окно входит звёздный мальчик — маленький, изящный. Он говорит, что ему одиноко все ночи ходить-бродить звёздными полями, и просит сочинить ему сказку. И я стараюсь, стараюсь — мне хочется, чтобы мальчик рассмеялся. Но он даже не улыбается никогда. Такие грустные у меня выходят истории. И совсем не тянут на сказки.

Гофман, отодвинув кружку, представляет: одинокая комната, за столом — человек с тревожными глазами, и вот — шевеление ветра, и мальчик в золотистом камзолчике и забавном колпачке — таком же синем, как и его штанишки, зайдя прямо в окно — как они недавно с архивариусом вышли из одного, — садится против грустного писателя и просит сочинить ему сказку. Перед тем разложены листы — в кропотливых, очень серьёзных буквицах, буквицах, которые вовсе не умеют улыбаться, и он, автор, думает, морщит лоб, говорит: «Сейчас, сейчас, подожди», — но мальчик начинает бледнеть, таять, вот сквозь него уже видно стену, и вот он исчез, оставив писателя совсем одного.

— А может быть, он — звёздный мальчик — и диктует вам ваши истории? — Говорит маэстро, вновь делая приличный глоток.

— Да как сказать, — отвечает грустный писатель. — Я, например, придумал, как человек, проснувшись однажды утром, превратился в отвратительное огромное насекомое, нечто среднее между клопом и тараканом. И как его ненавидели родные. Я хотел, чтобы они посочувствовали ему — такому неприятному, одинокому, но сочувствие проявила только сестра... И так — с душою человека — он вынужден был жить в обличь этого существа...

— А потом? Он умер, конечно? — спросил Гофман, чувствуя острую боль — не то в области сердца, не то в сердцевине горла.

— Ну да, что ещё с ним могло произойти? Потом я придумал про дикий остров, где никто никого не любит, и поэтому там была придумана жуткая машина казни. Тут — с этой машиной — я, может быть, немного переборщил: уж очень казнь получилась мучительная — такой и не существовало никогда, но ведь действительно — как мало, мало любят люди друг друга. И как много наизобретали они всяких жутких способов причинять друг другу боль.

Гофман опять отхлебнул пива. Искорки в его глазах заиграли, но ни одна не выпорхнула, не превратилась ни в кого, чтобы не тревожить лишний раз печального человека.

— А ещё? — спросил Гофман.

— А ещё я написал два романа. То есть три вообще-то, но третий не дописал. В

одном из романов идёт процесс — процесс над человеком, который не сделал ничего дурного, ну, в обычном понимании. А дурное было в нём, как во всех, — и над всеми такой процесс идёт, только не видят люди судей, палачей, экзекуторов, а этот видел, и ходил на заседания суда, и выслушивал дурные речи. А вина его была, как и любого, — в том, что живёт.

— Вот как, — покачал головой Гофман. — Верно подмечено. А во втором вашем романе что происходит?

— Там замок. Понимаете — замок, в который не попасть. Вообще никогда и никому. Только подступы к нему возможны. Да его и не видел никто — этот замок. Вокруг него лепятся деревушки, в которых так много разнообразной, мелкой, муравьиной жизни, и так сложно всё сплетено, что до самого замка не добраться никогда. В этом суть.

— Да, я тоже не раз представлял такой замок. Но писать о нём не стал. А знаете что? Вам надо познакомиться с одним архивариусом — он человек мудрый, он подскажет — непременно должен подсказать, — и в запале Гофман отхлебнул пива, — как вам найти иные сюжеты... или...

Архивариус — в белых одеждах, усеянных звёздами, с мерцающей бородой — возникает ненадолго. Не садясь, он говорит:

— Я знаю этого писателя. Он есть в моих архивах. Не беспокойся, Эрнст, с ним потом будет всё хорошо.

И растворяется в воздухе, будто его и не было.

— А я и не хочу других сюжетов, — произносит печальный писатель. — Мне нравятся эти. Только жаль, не могу развеселить звёздного мальчика.

— Ну, ничего, — резюмирует Гофман. — Вы ещё человек молодой. У вас многое впереди.

— Что вы, — отвечает писатель, и на губах его появляется подобье улыбки: он проводит рукой по губам, снимая оное подобье, и маленькая улитка ползёт по столу, к волшебной солонке. — Я давно умер, — человек поднимается, и становится видно, как он беззащитно худ, и облачко одиночества аурой окружает его. — Мне пора, — говорит человек. — Спасибо за беседу.

Он двигается по направлению к лестнице.

— А как ваша фамилия? — спрашивает Гофман вслед.

— Кафка, — не оборачиваясь, отвечает человек.

Он поднимается по лестнице и исчезает за дверью.

Обернувшись, Гофман видит напротив себя архивариуса.

— Какие яркие звёзды на твоём балахоне.

— А у тебя пиво кончилось.

— Ничего. Фортуна наполнит. Даже не приближаясь.

И действительно — кружка опять полна.

— И как тебе встреча? — спрашивает архивариус.

— Приятная встреча. Грустная только. Щемящая. Ему действительно нельзя помочь?

— Нет. И не нужно. Он помог себе сам — тем, что писал.

*То спасло, что он писал,  
Даром время не терял!*

Весёлый писк доносится от волшебной солонки.

— Ой, — восклицает Гофман, — ты здесь? А я думал, что забыл тебя дома.

Крошечный человечек стишка уютно расположился возле солонки. Соль в ней вспыхивает приветственно — на этот раз розовым цветом.

— Не бойся, Эрнст Теодор Амадей, — пищит человечек, — ты меня никогда не потеряешь.

— А тут, дружок, с тобой хотела познакомиться одна рыбка. Правда, она уплыла.

— Ни за что не поверю, — пищит человечек. — Рыбки никогда не уплывают, не познакомившись.

И действительно, взмахнув изящным хвостом, из воздуха, как из воды, выплывает рыбка — та самая, возникшая из искорки, выскочившей из гофмановского зрачка.

— Давай сюда, — пищит человечек. — Будем стишки сочинять.

— Видишь, — сообщает архивариус, — им будет славно вместе, славно. А мы с тобой прогуляемся.

— Но я хочу послушать их стишки.

— А ты их сам потом напишешь. Правда, ребята?

— Правда, — отвечают одновременно человечек стишка и рыбка, плавными виражами спустившаяся к нему, — он пискляво, как обычно, а она легко, даже как-то

прозрачно.

Гофман и архивариус идут по длинной улице старого города. Светло. Свет приятный, но и волнующий — зеленовато-золотистый.

— Свет, напоминающий сумму добрых змеек, — тихо произносит маэстро.

Важная матрона шествует им навстречу.

— Только не обращай её в молочный кувшин, — просит архивариус. — Дай ей спокойно дойти до дома.

— Ладно, — улыбается Гофман.

Два парня — те самые, из кабачка — выплывают из переулка. Обнявшись, они поют:

*Ай-люли, ай-люли,  
Мы до цели не дошли.  
Но, нас только помяни,  
Вот и мы, тю-ли-ту-ни...*

— Никто вас не поминал, — говорит Гофман.

— А и не надо, — отвечает один из парней. — Главное, что мы тут. И Фортуна наверняка на месте.

Фортуна, вынырнув из другого проулка, спешит куда-то, обгоняя маэстро, он оборачивается вслед, не зная, что и думать.

— Куда это она? — спрашивает архивариуса. — Никогда она так быстро не бегала.

— Она уходит из этого города.

— Как, — растерянно восклицает Гофман. — Навсегда?

— А это уже от тебя зависит, мой друг.

— Ну? А куда мы вообще идём? И что за город вокруг? Вроде бы знакомый, а не знаком.

Большая башня оседает, складываясь внутрь, но ни пыли, ни шума нет — как нету больше и башни.

— Ну и чудеса! — восклицает Гофман. — Что происходит?

— А происходит то, что в городе к власти пришёл горшок.

— Горшок? Кха-кха... Как это?

— Очень просто — большой такой, с лоснящимися боками. Он много хуже твоего Цахеса.

— А знаешь, по сути, Цахес не так уж плох — он же не виноват, что уродцем уродился и что фея его пожалела. Просто...

— Ладно, дело не в нём, а в том, что ныне у власти... впрочем, читай сам.

Они выходят на маленькую, аккуратно замощённую площадь. На углу здания белеет объявление и группа людей читает его...

Слышны восклицания:

— Ну и ну...

— Не было ещё такого...

— Что вы хотите? Это ж горшок...

— И мы вынуждены подчиняться?

— А как? Он же наш отец родной.

Гофман и архивариус подходят к людям, и Гофман читает:

#### УКАЗ ВСЕВЛАСТНОГО И ВСЕМИЛОСТИВОГО ПОВЕЛИТЕЛЯ НАШЕГО

*Я, неизвестной волей сверхправитель Горшок первый, повелеваю:*

*1. Всю наличествующую в городе пищу немедленно принести во дворец.*

*2. Поэтам, музыкантишкам, фантазёрам — из города вон.*

*3. Переварив должное количество пищи, я благодетельствую своих подданных новыми благосытными идеями.*

— Кто это, — спрашивает маэстро архивариуса, когда они отходят от публики.

Мимо них пробегают худые человечки, у одного подмышкой скрипичный футляр, другой лихорадочно распахивает по карманам листки...

— Поэты, музыканты, ты ж читал...

— Вот ведь бред какой! — восклицает Гофман.

— Не побежишь?

— Ты спятил?

— Да знаю, что не побежишь, — лукаво улыбается архивариус.

— А где он живёт-то — горшок этот?

— Как где? Во дворце, где крошка Цахес жил.

— А, вот в чём дело. Пойдём поглядим.

По узким, выющимся угрями улочкам двигаются они. Мимо пробегают растерянные, растрёпанные, взволнованные люди; лица всех мучнисто-белы.

Слышны голоса:

— Варит и варит. Спасу нет.

— Всё ему отдали, а всё мало и мало.

— Это не горшок, это прорва...

— Отец родной, не погуби, дай убежать, не вари и нас вместо пищи...

Вышли на главную площадь.

— Вот он дворец, — говорит архивариус. — Гляди.

В широкие стёкла второго этажа почти выпирает нечто лоснящееся, и вместе кажется оно мягким, тяжёлым, каким угодно — тесным, мрачным, занятым бесконечной, утробной работой.

— Всё ясно, — подытоживает Гофман. — Скорее в кабачок.

— Ты уверен?

— Никогда не был уверен ни в чём так, как сейчас. Надо вернуть в город Фортуну.

Мягко планируя, кружа, спускается грифон.

— Вот он я, — говорит. — Готов доставить побыстрее. А то...

Друзья взбираются на мягкую, удобную спину, и грифон несёт их, несёт к уютнейшему, не тронутому властью горшка кабачку.

— В переулок не пролезу, — сообщает грифон, спускаясь к началу узкого. — Тут вы уж сами.

Быстро идут.

Дверь обходится без приветствия.

Свеча горит привычно, но солонка полна чернотой, и перо возникает в руке Гофмана ниоткуда — лёгкое, волшебное.

Гофман садится к столу и пишет:

«Не справившись с таким количеством пищи, горшок треснул, жижа вытекла из него, столь ядовитая, что части, некогда бывшие правителем — худшим из правителей на свете, — сварились в её массе, и даже нечего было убирать. Фортуна вернулась в город».

И тотчас — с нежно мелодичным, хрустальным звоном Фортуна возникла за стойкой — улыбаясь, как почти и всегда, а соль в солонке вспыхнула нежно-золотисто.

— Здорово, — говорит архивариус и, пряча улыбку в бороде, добавляет: — Впрочем, другого я от тебя и не ждал.

Крошечный человечек стихка появляется возле волшебной солонки; он радостно машет тоненькими, точно проволочными ручками, и верещит, почти захлёбываясь:

*Прыг-скок, прыг-скок,  
Одолели мы горшок.  
Тот, кто много ест и пьёт —  
Доброту в себе убьёт.  
Ну а этот всё варил —  
Никого не любил.  
И его любить нельзя —  
Всем урок, мои грузья:  
Жизнь дана не для еды —  
Для любви и красоты.  
Прыг-скок, прыг-скок,  
Одолели мы горшок.*

— Опять ты раскричался, — говорит маэстро.

— Тс-с, — замечает архивариус. — Маленьких обижать нельзя. Впрочем — и больших тоже.

-----

— А ты возьми себе за правило — начинать каждое утро со стихка, — говорил крошечный человечек стихка грустному Гофману, говорил иным голосом, не пищал — слова звучали мелодично, спокойно и взвешенно.

— О, а ты, оказывается, умеешь разговаривать разными голосами! — восхитился маэстро.

— Конечно, — ответил человечек. — Согласись, всегда говорить одним голосом скучно. Это всё равно что всю жизнь питаться кашей.

Они сидели у архивариуса. Хозяин располагался в кресле, чему-то улыбаясь в

бороду, а Гофман был грустен-грустен.

- И как же возможно каждое утро писать по стишку? – поинтересовался он.
- Очень просто, – ответил человек. – Ну, хотя бы по такому.

И он продекламировал:

*Я немножко помечтаю  
И в действительность вернусь.  
И нелепой посчитаю  
Очень маленькую грусть.  
Что дано – то и реально.  
За окошком тополя.  
И живёшь – как ни банально –  
Только тёплой жизни для.*

- Нечего сказать – очень весело, – поморщился маэстро.

– Неважно – весело или невесело, – молвил человек, – главное, написать, а там день войдёт в свою обычную колею, и, глядишь, распогодится. Впрочем, против плохой погоды придуманы зонты. Вот стишок и на эту тему:

*Насколько судьба не сложилась,  
Настоль закипающий дождь  
Ты воспринимаешь как милость  
И большего в жизни не ждёшь.  
Гляди на него – по ступеням  
Восходит он силы, потом  
Стихает в пространстве осеннем.  
И выйдешь гулять под зонтом.*

Архивариус хмыкнул, а Гофман неожиданно рассмеялся:

- Ещё веселей.
- Повторяю тебе – весёлость вовсе неважна, главное – движенье.
- Какое ж тут движенье?
- А вот это – под зонтом.
- Кстати, – полюбопытствовал маэстро, – а кто это сочинил? Ты сам?
- Да нет, – честно признался человек. – Это мой прежний хозяин: тот, что возомнил себя поэтом и писал стихи, посвящённые тебе.
- Прежний? А что – у тебя есть новый хозяин?
- Ну разумеется.
- И кто же?
- Как кто? Ты, конечно. Хозяин – это тот, кто знает, что маленьких нельзя обижать.

– И больших тоже, – тихо добавил архивариус.

За окном – струисто и солнечно – текло утро.

Кошечка тихо обозначилась на подоконнике и сказала:

- Мяу.
- О, а вот и кошечка появилась, – воскликнул человек.
- Кстати, – спросил Гофман, – а где твоя рыбка? Ну та – фиолетовая...
- Увы, она улетела. То есть уплыла.
- Но обещала вернуться? – улыбнулся архивариус.
- Непременно, – ответил человек.
- Как Карлсон? – уточнил архивариус.
- Карлсон? – спросил Гофман. – Кто это?
- Не беспокойся, – поднял брови архивариус. – Это будет после тебя.
- Она точно вернётся. Я знаю, – молвил человек.

Кошечка спрыгнула с подоконника, изящно потянулась, пересекла комнату, полную диковинных вещей и славных вещей, и устроилась на коленях у маэстро.

- Как спалось? – спросил Гофман.
- Мяу, – нежно ответила кошечка. – Спасибо, чудесно. А тебе?
- Не спалось вовсе. Сочинялось сперва. А потом – бессонница.

Маленький человек стишка, резко вздёрнувшись, пропищал своим – более привычным компании – голосом:

*Рас-сказ, рас-сказ –  
Для читателей, для нас,*

*Всё от Гофмана стогится,  
Всякий в этом убедится.*

Гофман улыбнулся — но погладил не человека, а кошечку.

— Спасибо, — мякнула она, выгнув спинку, по которой прошла лёгкая серебряная волна. — Это мне приятнее молока...

— Послушай, — вдруг спросил Гофман. — А ты знаешь Мурра?

— Мурра? О, конечно. Так интересно слушать его рассказы. Он — кот лунный, кот мудрый, кот абсурдный, он вообще не кот — а целая республика котов и кошек. А иногда он пишет Мулю...

— Муль? Это ещё кто?

— Это такой... кот из будущего, кот-двойник Мурра, они с ним переписываются, перемаякиваются, переобмениваются мыслями...

— Кошечка, почти стишок, — попросил человек.

Кошечка — живое изящество — села на коленях у Гофмана, лапкой протёрла мордочку, и показалось, хочет откашляться.

И прочла:

### МУРР И МУЛЬ

*Муль — кот домашний, славный, мудрый —  
От Мурра письма получал.*

*«Хозяин вечерами чай*

*Пивал. Мир вовсе не абсурдный.*

*Мир не абсурдный, — так писал*

*Муль Мурру в прошлую реальность,*

*Которой сложную детальность*

*Вполне реально представлял. —*

*С крыш звёзды, Мурр, куда видней,*

*А впрочем, то тебе известно.*

*Над нами бесконечна бездна*

*Не страшная. И для людей». —*

*«Да, Муль, давно я это знал,*

*Ты, Муль, проекция, по сути,*

*Моя, и в этом скрытый знак.*

*Для мысли столь полезны сумрак,*

*И темнота, и тишина.*

*Жизнь обоснованно-логична, —*

*Считают два кота, — она*

*Ветвится очень симпатично.*

*А на ветвях растут плоды*

*Искусства и отменных мыслей.*

*Муль, я, по сути, — это ты,*

*Ты — это я, как ступки смыслов...»*

— Вот такие Мурр и Муль, — молвила кошечка, вновь сворачиваясь у Гофмана на коленях.

Со стола, заставленного причудливыми приборами и принадлежностями, нечто заворчалось, заворчалось колесато, и все посмотрели туда...

— А может быть, туда вообще смотреть не стоит? — пропищал человек. — Кто знает, что там творится. У архивариуса в доме всё возможно.

— Это Гомункул? — любопытствовал Гофман.

— Я и сам не знаю, Эрнст, — молвил архивариус. — Предполагаю, что это часы, которым надоело работать молча. Колесатость изделия подчёркивает его суть, а внутри у часов много колёс — правда, не похожих на то, в какое ты превратил студента Пауля. Но может, и Гомункул, не исключая такой возможности.

— А давайте спросим, — промурлыкала кошечка.

— Но... у кого же нам спросить, — отвечал Гофман. — Там такое множество приборов.

Кошечка спрыгнула на пол, и все подошли к столу — длинному, плотно заставленному, будто уходящему в перспективу.

— Уважаемый Гомункул, — откашлявшись, начал архивариус. — Если это вы, то дайте знать нашей компании. Мы могли бы вам чем-нибудь помочь.

— Хр-бум-бум... — раздалось в ответ.

Человек спрятался в карман панталон.

— Не бойся, — сказал архивариус. — Это всё-таки часы.

— Хр-бум — это часы, — сказал Гомункул, осторожно отодвигая крышку объёмистой посуды и выглядывая из неё. — Точно они. Я не смог бы издать такой противный звук.

Архивариус протянул длинный серебристый палец Гомункулу, но тот спрятался, задвинув крышку.

— Не бойся, — сказал архивариус. — Я бы никогда не позволил себе обидеть маленького. Просто я хотел помочь тебе выбраться.

Крышка снова слегка отодвинулась, и показалась потешная рожица.

— Ух ты, какой забавный, — пропищал человечек, выглядывая из кармана панталон. — Даже забавнее меня.

— Причём заметь, — пробасил Гомункул, стараясь выбраться, — у меня никогда не было хозяина. И я даже не знаю, как он выглядит.

— Выбирай любого, — щедро предложил архивариус, — любой из нас никого никогда не обидит.

Гомункул выбрался из своей посуды, сел на край её и покачал желтоватыми ножками. Тонкие кожистые крылышки тесно облекали его вместо одежды.

— Проблема в том, что мне не нужен хозяин, — пробормотал он, зевая. — Ещё чуть-чуть — и крылышки мои расправятся — и я полечу в счастливую страну Гомункулов, где всегда тепло и светит яркое, никогда не заходящее солнце, — помолчав, он добавил, адресуясь к Архивариусу: — Спасибо за вызревание.

— Не за что, — ответил тот. — Мне самому было занятно, что получится.

— Получился я вот, — сказал Гомункул, и крылышки его стали слегка трепетать.

— Но я никогда не слышал про страну Гомункулов... — начал было архивариус, — хотя в моих книгах...

— А я знаю, что в твоих книгах, — оборвал его Гомункул. — Видел их во сне, все — до одной. Представляете, — он оживился, — во сне интересней читать — буквы вспыхивают волшебными огоньками, чуть-чуть изменяя слова в лучшую сторону, наполняя их новыми смыслами...

— Но ведь во сне бывают и кошмары, — заявил Гофман.

— Кошмары, — авторитетно промолвил Гомункул, — состоят из неправильных букв. А я признаю только правильные. Так вот, о стране Гомункулов не слышал и не знает никто — просто потому, что я её только что выдумал.

— Как? Разве можно нечто выдумать — и чтобы оно тотчас появилось? Тем более — целая страна.

— И это спрашиваешь ты — Эрнст Теодор Амадей Гофман? Ты, населивший мир сонмом волшебных существ и несуществующих стран?

— Да, но всё же...

— Просто нужно ярко желать — и тогда радуга воплощения вспыхнет в яви, — крылышки Гомункула затрепетали сильнее, и он стал поддёргивать их ручками. — Ух ты, — пробормотал, — почти уже готовы...

— А зачем, — неожиданно спросил архивариус, — ты назвался часами — тогда, сначала?

— Просто рядом кто-то хрипел довольно противно, вот я и подумал — точно часы. Потом — я ещё не знал вашей компании, вдруг вы вовсе не милые люди — а какая-нибудь сплошная дыра! Вот был бы номер. Куда бы я тогда полетел?

— А ты уже готов, по-моему, — мяукнула кошечка.

— Точно, — радостно вскричал Гомункул, вспрыгивая на краешек посуды.

Крылышки его утончились, расправились, сильно и нежно, он взмахнул ими, и воздух розово затрепетал вокруг.

— Какая чудесная картина, — восхитилась кошечка.

— Пока, пока, — прощался гомункул, делая круги по комнате, — улетаю к своим. Пока, пока, и ещё раз — спасибо за уютное вызревание.

Он вылетел в окно и растворился в течении солнечных лучей — неподвижном, как, бывает, кажется неподвижной река — при мощном внутреннем течении.

Выскочив из кармана панталон, крошечный человечек стишка пропищал:

— Ну как, маэстро? Тебе больше не грустно?

— Пожалуй, нет, — ответил Гофман, улыбаясь. — Можно идти в кабачок — к Фортуне.

— Нет, нет, — вздёрнул архивариус тонкие белые руки. — Сегодня без меня. У меня есть дело.

— Таинственное? — поинтересовалась кошечка, вспрыгивая на подоконник.

— Конечно, — ответил архивариус.

— Тогда хорошо, — молвила кошечка, исчезая в окне.

— А я пойду, — сказал Гофман, посадив на ладонь крохотного человечка стишка.

Гофман шёл по изогнутой, как старая древесная ветка, улице, и перемигивался с лёгкими солнечными бликами.

— Если бы утро имело лицо, — сказал он им, — вы могли бы стать задорными веснушками, украшающими его.

— Веснушки не бывают подвижными, — ответил один из бликов — наиболее шустрый. — А мы не можем без движенья.

Он скользнул по плечу маэстро и тут же превратился в бледную бабочку-лимонницу. Вспорхнув, она улетела, тонко подрагивая крылышками и вычертив прощальный зигзаг.

— А тебе подойдёт быть махаоном, — сказал Гофман блику покрупнее, — он сейчас же спланировал на плечо маэстро и расцвёл тёмно-коричневым, глазастым окрасом. — Чудесно, — молвил Эрнст Теодор, — а теперь догоняй лимонницу.

Махаон последовал совету.

Фиолетовая рыбка — та самая, выпорхнувшая из искры, — сделала в воздухе пируэт, заиграла небесным серебром и поплыла, быстро-быстро — за ними: бабочками-бликами.

— Эй, — бросил Гофман человечку, — рыбка прилетала.

— Да я видел, — ответил тот, не вылезая из кармана панталон. — Пообщаемся ещё, успеем.

— Ты это подумал или сказал?

— Мне больше нравится — молвил, а не сказал, — пискнул человечек деловито.

— «Мол» — оставляет больше шансов, чем «ска»... Правда, я не знаю, что такое «вил». Похоже на название какой-то еды. Впрочем, «зал» настолько определённо, что режет любую фантазию под самый корешок.

— А у фантазии бывает корешок? — полюбопытствовал Гофман.

— Ну... должен быть, — ответил человечек басовито, а вовсе не пискляво, и засопел.

— Что означает твоё сопение?

— Я чувствую — сейчас что-то произойдёт.

И верно — из-за угла уютнейшего домика, похожего, разумеется, на пряник, выскочила группка из трёх существ. Все небольшие, в потешных зелёных кафтанчиках и синих штанишках, а колпачки, украшавшие их головки, напоминали розоватые шляпки грибов.

Существа, размахивая лапками, на каждой из которых было только по четыре — но очень изящных! — пальчика, стали весело скакать вокруг Гофмана. И он заулыбался, приятно поражённый многообразием движений, производимых существами. Они подпрыгивали, кувыркались, смеялись, хватали друг друга за руки, трепали по спине, зависали ненадолго в воздухе, точно стремились взлететь, снова касались брусчатки, водили хороводик — крошечный, как веночек из ромашек.

— Кто вы? — спросил маэстро.

— Мы — детюнцы, — ответил за всех тот, что был чуть побольше.

— Детюнцы? Никогда о вас не слышал.

— Немудрено, — отвечал всё тот же. — Мы и сами про себя не слышали ещё час назад.

— Как так? — пискнул крошечный человечек стишка из кармана панталон.

— А так. Мы — производное от бликов-бабочек, выпущенных на волю нашим маэстро.

— Но их же было только две, — сказал... нет, молвил, как больше нравилось человечку стишка, Гофман.

— Нет, — крикнул другой детюнец, весело подпрыгивая и ножками изобразив в воздухе крендель. — Третий блик-бабочка возник чуть позже, но сразу же присоединился к двум первым. Он — и есть я.

— И чем вы собираетесь заниматься? — весело спросил Эрнст.

— Ничем, — закричали все трое.

— Как так? Но это же скучно всё время ничем не заниматься.

— Напротив, — ответил старший детюнец, — скучно всю жизнь заниматься чем-то. А не заниматься — наоборот — легко и весело.

Они кувыркались, делали стойки на руках, садились на шпагат, поддавали — шутя, конечно — один другому, потом загорланили песенку:

*Детюнцы поют и скачут,  
Есть у них волшебный мячик,  
Он взлетает высоко,  
Лопнет — звонко и легко,  
Радугу раскинув ловко,*

*И с отменной сноровкой  
Прямо на небо бегут  
Детюнцы. Хорош маршрут.*

И действительно — синий, упругий мячик появился в лапках старшего детюнца — появился неизвестно откуда; тот подбросил его, и мячик стал подниматься, меняя окрас ежесекундно, переливаясь, а взлетев повыше, лопнул — звонко и легко, как было сказано в песенке. Радуга раскинула два крыла, и детюнцы побежали по ней.

— Прощайте, маэстро, — кричали они. — И тебе всего-всего, крошечный человечек стишка.

Тот, высунувшись из кармана, махал им, что-то тоже рифмуя в уме.

— Надо же, — восхитился маэстро. — У них и песенка есть.

— А тут несправедливость, — пискнул человечек, уже спрятавшись в карман. — На трёх детюнцов — одна песенка. Нужно, чтоб у каждого детюнца была своя.

— Может, они потом и сочинят — каждый себе по песенке, — отвечал Гофман. Всё это время, как оказалось, он шёл, правда не быстро, так как связавшись с детюнцами, вряд ли кто сумеет двигаться шустро, как ходики.

Молочница катила тележку навстречу.

«Я бы мог, — думал Гофман, — превратить её в кувшин с молоком, кувшин на коротеньких таких, но сильных ножках, и ей бы не пришлось толкать громяющую эту тележку».

Поравнявшись с нею, маэстро понял, что молочница никогда бы не захотела стать кувшином, и не стал делать ничего, просто продолжал идти.

— Интересно, кто открывает ворота фантазии и дарит нам пригоршни слов? — бормотал себе под нос маэстро. — Интересно, где эти два парня — вечно пьяные — что попадались мне последнее время постоянно? Интересно...

— Не много ли интересного, а? — пискнул из кармана человечек. — Между прочим, ты прошёл кабачок матушки Фортуны.

— И то верно! — и Гофман, хлопнув себя по лбу, вынужден был двинуться в обратном направлении.

Дверь оставила его без приветствия, зато лесенка пропела:

*Здравствуй, милый, милый Гофман,  
Доверяй фантазий горкам.*

— Спасибо, — неожиданно для себя поблагодарил Гофман лесенку. — Я им и так доверяю. Только почему горкам? Я вижу в себе горы, Монбланы фантазий.

Но лесенка молчала уже, будто и вовсе не умела и говорить, ни петь.

Фортуна улыбалась серебрено.

Два парня дрыхли за столом, уставленным кружками и разными бутылками: замшелыми, зелёными, прозрачными и светлыми.

— Послушай, — сказал Гофман хозяйке, — не могла бы ты повести себя с ними как подлинная Фортуна? Ну, хотя бы обратить всю их брагу в молоко.

— Ах, маэстро, вы говорите так, будто когда-нибудь сами пили молоко! — засмеялась Фортуна, наполняя объёмистую кружку пивом.

— И верно, — улыбнулся Гофман, принимая кружку из её рук. — В моём закутке никого?

— Почему же? Там ваше перо. Очень деловитое — надо сказать.

— Да? — протянул маэстро, впрочем, едва ль удивлённо. — Поглядим, что оно там делает.

В закутке на столе стояла оплавившаяся свеча, лежала гора бумаги, и перо — действительно деловито — порхало по верхнему листу.

Гофман присел; осторожно — так, чтоб не мешать, — поставил кружку и сделал глоток — несколько более шумно, чем хотел бы.

Перо, остановившись, сказала недовольно:

— Можно не шуметь, когда я работаю.

— Кхе-кхе... — кашлянул Гофман.

— Ах, это вы, маэстро! — вздрогнуло перо, и на кончике его засиял крупный павлиний глаз.

Гофман засмеялся, потом сделал ещё глоток — аккуратный, совсем не шумный.

— Ты с этим глазом похоже на циклопа. Но циклопы не бывают среднего рода.

— Я буду перо-циклоп, — ответило перо игриво. — Этаким гибрид из фантазий вашего дальнего брата Босха.

— Так что же ты пишешь?

— Сценариус, — важно ответило перо.

- Что-что? — не понял Гофман.
- Сценариус для фильма, — пояснило перо.
- И что это за слова?

Крошечный человек стиска выпорхнул из кармана панталон, подбежал к бумаге, устроился чуть поодаль и сообщил — серьёзным голосом, без намёка на писклявость:

- Это из нашего мира, маэстро. Из будущего. Где вам не понравилось.
- Но что это означает?

— Ну, фильма — это как бы ожившая, выдуманная жизнь, запечатлённая на специальной плёнке, которая мчится перед вами в темноте, расцветивая и украшая реальность.

- А, понятно, — протянул Гофман. — А сценариус?

Перо деловито запорхало над бумагой.

- Сценариус, — объяснил человек, — это скелет фильма. Костяк. Основа.

— И о чём же ты пишешь, перо? — спросил маэстро, поблагодарив человека, и вновь сделав глоток.

- Как о чём? — вздрогнув, замерло перо. — О вас, конечно.
- Обо мне? — удивился он. — Неужели? И что же ты пишешь?

— О, тут будет всё — и как вы побывали в будущем, где вам не понравилось, и как встречались с печальным писателем по фамилии Кафка, и как бродили с архивариусом, а потом летали на грифоне, посещали сады, победили горшок... обо всём, в общем.

- А про детюнцов будет? — поинтересовался человек стиска — уже пискляво.
- Про этих шалопаев? Обязательно.

Гофман пил своё пиво, человек мечтательно глядел в потолок, а перо, утратив свой глаз — безболезненно, конечно, путём алхимического обращения, — заявило:

— Так что я попросило бы не мешать работать. А то могу напортачить или что-нибудь исказить. А сценариус не терпит неточности.

- Работай, работай, — помахал ладонью Гофман. — Я сейчас допью пиво и уйду.

- Мы уйдём, — пискнул человек. — Хотя я и не пью пива.

И они действительно ушли через несколько минут.

В комнате у архивариуса было всё как обычно — не было только его, архивариуса.

— Впрочем, для такого человека — если он вообще человек — как раз обычно необычное, — подытожил Гофман.

Синие и золотые шарики, заслышав звук его речи, вспыхнули и закружились вокруг взлохмаченной, как всегда, головы маэстро.

Они водили хороводы весело, как детюнцы, и лопались совершенно безболезненно, падая словами на бумагу, в изобилии имевшуюся на столе. Слова соединялись ловко, почти без участия маэстро, и рассказ ткался сам собою — так, будто у него не было автора.

— А это высший класс, — послышался голос архивариуса, — когда текст сочиняется сам собою.

— Какое колючее, неудобное слово — текст, — отозвался Гофман. — Ничего не обозначает — и приказ горшка был текстом, и любое объявление текст. То ли дело чёткая обозначенность сделанного — рассказ, повесть, стихотворение.

- Особенно стихотворенье, — пискнул из кармана человек.

Архивариус пересёк комнату и сел напротив Гофмана.

- Ты сегодня без своей хламиды? — поинтересовался тот.

На архивариусе был коричневый бархатный пиджак, жёлтые панталоны и туфли с большими серебряными пряжками.

Борода серебрилась как-то особенно — с зеленоватым отливом.

- Да, сегодня вот так.
- Ну, как твоё дельце? — спросил Эрнст.

— Это спрашивает только Эрнст? — улыбнулся архивариус. — Или Теодору и Амадею тоже интересно?

- Всем нам, — тоже с улыбкой ответил Гофман. — И человеку, пожалуй.

Но тот ничего не пискнул и не пробасил из уютной норки кармана.

- Дельце сделано. Хотя «сделано» больше подходит делу.

- А что у тебя было — дельце или дело?

— Пожалуй, дельце — такое небольшое, пушистое. Правда, иногда оно может быть важнее дела — пузатого и надутого, как горшок.

- Прыг-скок, — пискнул человек.
- Значит, не спит? — спросил архивариус.

— Нет, — ответил Гофман за своего крошечного приятеля. — У нас было такое насыщенное, переполненное впечатленьями утро, что спать ему — никак. И вообще-то кто ж спит по утрам?

- Но сейчас уже день, — заметил архивариус.  
 — Да и днём спать негоже.  
 — Тогда, — предложил хозяин, — давай выпьем вина и отправимся в недра двери.  
 Ты ещё, кажется, там не бывал.  
 — Здорово звучит, — развеселился Гофман, — недра двери!  
 Кувшин возник на столе, играя рубиновыми оттенками, и волшебная соль в не менее волшебной солонке вспыхнула золотисто в ответ.  
 — Ты не забыл, — поинтересовался архивариус, — что она здесь ночевала?  
 — Не-а, — откликнулся маэстро. — Она может ночевать где хочет. Главное, чтоб меня не забыла.  
 Демонстрируя, что забывчивость ей чужда, соль вспыхнула сначала сиренево, потом янтарно. Потом опять стала белой.  
 Вино было налито и выпито. Капля, упавшая на человечка, сильно позабавила его.  
 — Нет, нет, — хорохорился он, — я не опьянею ни за что и никогда. Не буду, как те двое из кабачка.  
 — Ну, идёмте, — пригласил хозяин.  
 Для начала путешествия им пришлось выйти за дверь и тут же остановиться, ибо маршрут был необычен.  
 — Как же мы попадём туда? — побеспокоился Эрнст.  
 — О, не переживай, технология отработана.  
 Он щёлкнул пальцами — или выдрал волосок из бороды — что совершенно неважно, и стены дома потекли, засияли, забликовали множественными изображениями. Они перемещались, входили одно в другое, создавая причудливую диффузию, и дверь медленно, будто нехотя включилась в игру.  
 — Теперь пора, — сказал хозяин.  
 И они вошли, не входя в дверь — не открывая её, приблизились к ней вплотную, и растворились в панораме, предложенной ею.  
 — А тут занятно, — сказал маэстро, озирая массивные опаловые плафоны под потолком.  
 — Ещё бы, — молвил архивариус. — Много воздуха, света и волшебства.  
 Из воздуха сконцентрировался грифон, нежно отливая мягкой розовой шкуркой.  
 — Привет, — сказал он.  
 — О, здравствуй, — отозвался маэстро. — Давно мы на тебе не летали.  
 — Поправимо, — охотно откликнулся грифон и даже предложил им широкую свою спину.  
 — Нет-нет, — объявил хозяин дома. — Сегодня никуда не полетим.

*Никуда не полетим,  
 Ибо больше не хотим.*

- Пискнул человечек из кармана.  
 — И он тут? — спросил грифон.  
 — Куда же я теперь без него? — сказал Эрнст.  
 Человечек выглянул на минутку, задрал нос, посмотрел на плафоны и спросил то же, что и маэстро:  
 — А что в них?  
 — Как что? — удивился грифон. — Грифоны, конечно. Каждому грифону — по плафону.  
 — Как же они там умещаются? — пробасил человечек, демонстрируя грифону умение менять голос.  
 — Ах, ты и мастер! — восхитился тот. И объяснил: — Дело всё в том, что мы, грифоны, способны менять размеры. И вот, налетавшись, или какие там сегодня у нас ещё занятия, мы возвращаемся в плафон, как в нору. И тепло. И удобно.  
 — А действительно, — спросил Гофман, — какие бывают занятия у грифонов?  
 — Разные, — ответил грифон, сел на хвост, служивший ему как диванный валик, и задумался.  
 Устав ждать, маэстро поторопил его.  
 — Ну... э-э-э, — протянул грифон, — во-первых летать.  
 — Это мы и сами знаем.  
 — Во-вторых, ле... — грифон явно собирался сказать «летать», но понял, что повторяется. — Во-вторых, — протянул он, — честно говоря, не знаю. Просто такие особые грифоньи занятия.  
 — Ну, хорошо, — согласился Гофман. — А как же они из плафонов-то выбираются?  
 — Очень просто. Вот так.  
 Он призывно посмотрел вверх, и колпачок плафона стал набухать, превращаясь в

малиновую, с агатовым отливом каплю. Она увеличивалась в размерах, вытягивалась вниз и, наконец, упала, а соприкоснувшись с полом — паркетным и лаково блестящим, между прочим, — стала небольшим грифоном. Он, позёвывая, глядел на пришедших, как бы не понимая, зачем его потревожили. Потом встряхнулся, встал на четыре лапы и приветствовал всех, дружественно мотая головой.

— Вот так, — сказал первый грифон Гофману.

— А кто у вас старший? Ты?

— У грифонов старших не бывает, — объяснил вновь появившийся. — Мы все равны, — он зевнул ещё раз, встряхнул головой, и добавил: — Ну, если у вас ко мне всё — я полетел.

— А куда? — пискнул человек.

— Это совершенно неважно, — философическим тоном сообщил новый грифон.

— Грифон — на то и грифон, чтобы летать.

Он оторвался от пола, обернулся янтарным облачком и ловко просочился через дверь.

Архивариус, молчавший всё это время, предложил:

— Ну, двинемся дальше?

— А тут есть дальше? — одновременно спросили и Гофман, и человек.

— О да, — за архивариуса ответил грифон.

И они двинулись, причём грифон медленно, вразвалку шёл впереди.

Они видели гордых, блестящих белизною единорогов, но ни с одним не довелось поговорить, ни с одним, и сияющие скалы, из расщелин которых вылетали цветки пчёл, ласково-бархатных, никого никогда не жалящих и всегда готовых поделиться свежим мёдом фантазий, и говорящее озеро, которому человек прочитал стихи; они проходили под пышными кронами пиний, и те — у них на глазах — обращались в невиданные огромные араукарии; они сдирали паутину душевной сытости ради соблазнов любопытства и утомились под конец — мало ли что можно увидеть в недрах волшебной двери тысячелетнего архивариуса?

У выхода, под плафонами грифонов что-то взметнулось перед ними, буровато завихрилось столбом, в котором замелькали толстенькие ручки и короткие ножки, поворачивалось немного и оформилось в потешного человечка в дырявом камзоле, заплатанных штанишках и стоптанных башмаках.

— Здравсьте, — сказала существо, стряхивая с себя золотистую пыль. — И когда успел запылиться? — поинтересовался потешный невесть у кого.

— Это вопрос риторический, — произнёс архивариус. — А главный: кто ты? Я вроде тебя раньше не встречал.

— Я — Бурлеск, — отозвался тот.

— Бурлеск? Как это? — спросил маэстро.

— Очень просто, — ответил Бурлеск. — Всё происходящее здесь есть бурлеск. И это всё постепенно, кристаллически стало мною. Видите эти дыры на моих одежках? Это следствия ваших путешествий и приключений. Не более, но и не менее того.

— Ах, мой друг, — воскликнул Гофман растроганно, — значит, ты страдаешь из-за нас!

— Ничуть не бывало! — весело ухнул совою Бурлеск. — Мне было весело, как и вам.

И он заухал опять, захопал ручками, превращавшимися в крылья.

— Но, — произнёс архивариус несколько удивлённо, — сова — это моё ампула, — и, воспарив над полом, он действительно обернулся большой совой, устремившей полёт свой к двери, к её изнаночной стороне, и Гофман шагнул за ним, чтобы оказаться на улице.

Здесь, слегка отряхнувшись, он открыл дверь уже обычно, без фантазий, и по лестнице, не умеющей разговаривать, а тем более сочинять стишки, поднялся в хорошо знакомую комнату, где архивариус уже сидел за столом.

— Воздадим должное трапезе, — провозгласил он.

И они воздали.

Бумаг не было — весь стол был заставлен блюдами, тарелками, кувшинами, всё скворчало, переливалось, уютно и аппетитно пенилось, играло.

— А это что? — спросил Гофман, накладывая себе немного светло-зелёной снеди.

— Это маринованные цитрики, — пояснил хозяин. — Только не спрашивай, что это такое, — никто не знает.

— Тогда должны быть и копчёные ватрики.

— Конечно, вот они. Только, увы, их неприятнейшая особенность разбежаться во время трапезы многих отвращает. Многих — но только не меня.

Копчёные ватрики — продолговатые и ароматные — сами забрались к Гофману на тарелку.

Потом были тушёные в собольем меду утрики, ушки пататы, настоянные с кардамоном, шипящий цикус и жёлтенькие буфаки.

Крошечный человечек стишка ничего не ел.

— А мне вообще есть не надо, — пояснил он. — Я сыт стихами.

Поначалу бубнил он довольно громко, не желая вылезать из кармана, потом, вняв просьбам трапезничающих друзей, стал бормотать стишки тише и тише, а под конец совсем заснул.

За десертным терпким вином архивариус поинтересовался, как его другу понравились последние дни?

— А разве они последние? — спросил Гофман, становясь печальным, как утром.

— О, не пугайся, друг мой, каждые дни последние. Именно это и придаёт им особое очарование. Ведь что общего между вчерашним вторником и падением Трои? Только одно — и тот, и другой день никогда больше не повторится.

Но Гофману всё равно было грустно, хотя он и сказал — честно, как всегда, — что эти последние дни ему очень понравились. Как и предыдущие последние. И предыдущие.

Кошечка появилась на подоконнике, пересекла комнату, бесшумно взобралась маэстро на колени. Он гладил её, но она просто мяукала, как будто вовсе не умела говорить.

— А она была там?

— Там — это где? — переспросил хозяин.

— Ну, в недрах твоей фантастической двери.

— Конечно. Просто умеет маскироваться. А ещё лучше — делаться невидимой.

И кошечка тотчас сделалась невидимой, продемонстрировав своё немалое искусство.

Как-то ясно стало, что пора прощаться — по крайней мере на сегодня.

Они пожали руки друг другу, причём с тонких пальцев архивариуса скатились прозрачные золотые шарики.

— Волшебные, — пискнул человечек.

Когда Гофман уходил, архивариус, оборотившись совой, уютно кемарил на изящной жёрдочке.

— Ни дать, ни взять домашний попугай, — пробормотал Гофман, но уже на улице.

Волшебные, прозрачные, наполненные светом добра и радости шары плывут над Гофманом, идущим по переулку. Он не видит их. Ему не нужно их видеть.

Они переливаются, образуют плавно изгибающийся поток и потом, не лопааясь — хотя могли бы! — растворяются в воздухе. Внезапно Гофман останавливается и глядит на свои ладони.

— Странно, — тихо произносит он, — линии стали чётче и резче. К чему бы это?

Он всматривается в тонкое струение веточек на ладонях и бормочет что-то тихо-тихо, точно сочиняя стихотворенье.

— А у меня вообще нет никаких линий на лапках, — высовывается из кармана крошечный человечек. — И никогда не было, — добавляет, прячась.

— Да тебе и не надо, — говорит маэстро. И спрашивает, не обращаясь ни к кому: — Не зайти ли в кабачок к Фортуне? Она ведь не закрывает никогда...

Но потом решительно идёт в другом направлении, идёт к себе домой, сворачивает в очередной переулочок, останавливается у трёхэтажного дома и берётся за ручку двери — двери, никогда не приветствовавшей его ни прозой, ни стихами.

Человечек опять высовывается из кармана и спрашивает:

— Тебе грустно, Гофман? — спрашивает не пискляво, обычным голосом.

— Грустно? Пожалуй. Или чуть-чуть всего. Сам не пойму.

Гофман открывает дверь, идёт по лестнице, всегда тёмной, неприятно крутой, и медлит у своей комнаты, точно не решается войти.

Хлопает по карману — слегка, как человек, проверяющий, не забыл ли он что, но маленький дружок не отвечает, и кажется, его нет в кармане вовсе.

— А может, и никогда не было? — тихо произносит Гофман, давно привыкший разговаривать с самим собой. — Может, вообще ничего не было — волшебных мерцаний, хороводов слов, полёта на грифоне? И архивариус пригрезился мне?

Вместо человечка Гофман извлекает из кармана ключ — обычный, скучный, тускло поблескивающий ключ — и несколько мгновений глядит на него, глядит будто удивлённо — так, точно это ключ, что открывает все двери.

Галерея, состоящая из одних дверей, проносится перед его мысленным взором, и ко всем ним подходит ключ, и за всеми ними — суммарная тайна мира.

Гофман улыбается и открывает свою комнату.

Она убога — узкая и длинная, с продавленной кое-как застеленной кроватью, с

массивным старым шкафом и письменным столом у окна. Возле стола кресло — единственное уютное место в комнате, и в кресле этом сидит красивая, молодая, точно фарфоровая девушка — в белом, с золотистыми лентами платье.

Гофман останавливается, машинально прячет в карман ключ, спиной приваливается к двери.

— Кто ты? — спрашивает он, зная ответ.

— Я? — голос девушки мелодично-хрустелен. — Смерть.

— Какое простое слово! — восхищается Гофман. И, спохватившись, восклицает: — Уже?

— О, не бойся! — улыбается девушка. — И не смущайся. Почему вы решили, что я должна быть старухой? Или скелетом с косою? Мне не нравятся эти образы. И вообще — я люблю белое и золотое...

— А я, кажется, не успел подготовиться к твоему приходу, — растерянно бормочет Гофман. — Да и не знаю, как надо готовиться было.

— А я не за тобой, — говорит девушка почти весело.

— Как? А почему ты здесь...

— Просто захотелось посмотреть на тебя. Поближе посмотреть.

— Разве так бывает?

— А разве бывает всё то, что ты сочинил, грустный Гофман?

— Не знаю. Я никогда не знал. Не знал, откуда всё это приходит, почему переплетается так причудливо...

— Не беспокойся. В моей книге — хотя я и не большая любительница книг, но эту вынуждена читать — сказано, что я пройду мимо тебя. Должна пройти.

— Что это означает?

— Только одно — человек, так выразивший себя в слове, не подвластен смерти.

— Значит...

— А понимай, как хочешь, — смерть улыбается уже явно, и улыбка её красива, молода.

Золотые лучи наполняют комнату.

Тонкая, нежная, тихая музыка — музыка, о которой мечтал он всю жизнь, звучит — непонятно откуда...

Смерть поднимается с кресла — легко, как и подобает девушке.

— Ну, — говорит она, — как обещала.

И проходит, шурша платьем, мимо Гофмана, открывает убогую дверь, спускается по лестнице.

Крошечный человечек стишка ловко выпрыгивает из кармана, вскакивает на стол, распахивает милые лапки, и из них кругло выкатываются буквы, складываясь в такое естественное и не страшное слово

К о н е ц

## ПОГУСТОРОННИЙ ЭПИЛОГ

Таинственные мерцания были настолько привычны Гофману, что не очень-то он удивился, когда, мельком окинув своё, столько мучившееся на земле тело, вдруг оказался втянутым в туннель: расширявшийся и расширявшийся...

Влекло и переворачивало: да так интересно, что обещание смерти, некогда навестившей его в образе прекрасной девушки, не трогать мистического сказочника, показалось несерьёзным...

Раздувалась белоснежная борода архивариуса, и звёзды, мерцавшие рядом, текли лучевой силой необыкновенной красоты.

Я умер?

Конечно — отозвалось в сознании голосом того, кто ведал множество тайн и читал в книгах, закрытых от большинства.

Ты, Гофман, умер — оставив на земле пёстрые вороха невероятных сочинений, где мистические потоки обтекали обыкновенную реальность...

Туннель развернулся космосом, и полёт делался всё более захватывающим: пространство представало многомерным, выгибались таинственные дуги, и грани чего-то непонятного сияли славными плоскостями...

Есть ли предел?

Он отозвался тут же, предложив вариант почвы, сквозь которую, как по мановению волшебной палочки, прорастали причудливые растения...

Астры были размером с земные кусты, и из звёзд, резвясь и издавая прелестную музыку, вылетали чудесные эльфы...

Здесь легко было передвигаться, и создавшее оболочку лучше всякой одежды новое тело Гофмана кружило вокруг могучих, уходящих в неведомые небеса стволов...

Жуки играли на музыкальных инструментах так, что музыка воспринималась лучами.

Всё воспринималось теми органами зрения, что на земле, будучи плотно окутаны мозговой массой, лишь образы смутные давали: приходилось их доводить до реальности путём насыщения плотью.

— Плоть здесь не нужна, — слышалось, и Гофман, развернувшись в воздухе, увидел красивого старца, читавшего обширный том.

— И что вы узнаете из него? — поинтересовался сказочник.

— То, что ты прибыл к нам.

Старец посмотрел на него молодыми, василькового цвета, лучающимися глазами, и том стал уменьшаться, уменьшаться, пока не превратился в маленького забавного человечка, тут же спрятавшегося под высоким, самостоятельно живущим листком.

— А куда я прибыл?

— О, здесь много вариантов бытования и, как видишь, чёткость зримого не уменьшается: наоборот — она увеличится по мере подъёма... Насладись окрестным.

Старец стал таять в воздухе, как Чеширский кот, о котором Гофман не мог знать: но знал, однако, ибо улыбка последнего проступила в пространстве — вместо старца.

— Да-да, я один из самых интересных персонажей того мира, в измерениях которого ты жил на земле, — мира литературы.

Рядом стал проявляться короб, и в нём сидел ещё один кот, не собиравшийся растворяться в воздухе.

Послышалось от него:

— Я тоже, хоть и не из мира литературы. Я — из физики, сиречь — от природы; и зовут меня котом Шрёдингера, причём понять, жив я или мёртв, не представляется возможным.

— Здесь разве есть мёртвые?

— О нет, — воскликнул Чеширский, то пропадая, то появляясь. — Здесь все живы.

Он мяукнул, как Мурр, а кот Шрёдингера добавил:

— Впрочем, я исключение...

Об этом не худо бы было расспросить архивариуса либо Мурра, подумал Гофман, но оба были заняты вечными земными делами...

— Почему ж? — пролетая, трёхкрылая, весьма занятная птица огласила вопросом воздух. — Достаточно сконцентрироваться на полёте, и ты увидишь их...

Гофман воспарил: свечение следовало за ним.

Он воспарил — и увидел: Мурр, выбравшись на крышу, сочинял сонет, а архивариус ехал в волшебной раковине, запряжённой золотыми жуками счастья.

«Смерть — это счастье?» — подумал Гофман.

Все были близки, всё сделалось близким.

Он, великий сказочник, скользнул вниз — на пространных музыкальных крыльях сочинений, не созданных им, — хотя бы для скрипки и оркестра; и оказался рядом с котом, столь занятым, что не заметил своего создателя.

— Всё отражается во всём, — молвил архивариус, продолжая поездку, и Гофман, поднимавшийся выше и выше, увидел великолепные оркестры из цветов и растений: здесь виолончелями служили небесные розы, а органы росли из небесной почвы: прозрачной и лёгкой, чем-то напоминавшей земное стекло, но без веса.

И музыка была такая красивая...

Гофман, уменьшившись, что оказалось не сложным делом, влился в потоки её: они несли писателя, серебрясь и переливаясь, и он очутился в городе...

Город был уютен, дома утопали в садах, люди выходили из них.

— Как на земле?

Не у кого было спросить, однако Гофман шёл уже, и молодая женщина, напомнившая ему смерть, поинтересовалась:

— Вы новый?

— Вероятно, — ответил Гофман, посчитав такой ответ наиболее возможным.

— Тогда вы можете построить дом и заняться тем, к чему лежит душа.

— А как?

— Очень просто. Подумайте о доме, который бы вам хотелось...

И она растаяла, как Чеширский кот.

И Гофман, только подумав о прятничном домике с садом, наполненным фантастическими растениями, тотчас получил его: чёткий, конкретный, как в земном бытовании.

Домик оказался населённым гномами, и они приветствовали писателя: шустрые, носились туда-сюда...

— Тихо, — улыбнулся хозяин. — А старший у вас есть?

— Не-а, — ответил один в зелёном костюмчике. — Зачем нам? Разве ты не устал от иерархий на земле?

Пожалуй, подумал Гофман, усаживаясь за стол (какой удобный!) и принимаясь за перо...

Оно ожило, оказалось в руке, и тут же возникшая бумага стала покрываться образами, ранее не приходившими в голову.

Гофман погрузился.

Мыслящиецаплисобеседовалискрабами,высокоразумнымиидоброжелательными, а живые лепестки огня рассказывали об устройстве дальних планет.

— Представляете, есть системы, где работают сразу три разноцветных солнца и планеты движутся по эллипсоидам между ними. Жители тамошние испытывают особую жизненную полноту, и гармония, насыщающая их, столь золотиста.

Гофман захотел оказаться там и — оказался...

Солнце зелёное переливалось, оранжевое играло, фиолетовое было неподвижно.

— Оно движется, движется, только в себе, — раздались радостные голоса.

Дети читали книги.

Буквы прорастали сквозь них, становясь необыкновенными партнёрами для игр.

Время ощутимо текло, можно было окунуться в поток и оказаться в самом прекрасном своём воспоминании, чтобы пережить его ещё раз...

— Почему только раз? — заметил один ребёнок, оторвавшийся от книги. — Сколько хочешь, столько и переживай.

Отсюда, легко вернувшись к себе домой, усевшись за удобнейший стол и наблюдая за игрой гномов, Гофман, проводивший девушку-смерть, подумал: что ж, если жизнь нам так нравится, значит — смерть понравится тоже...

И продолжил жить.

Пребывая в смерти...

Гофман выходит из дома — или из тома: преображённый светом, Гофман становится своим же персонажем...

Лёгко ли путь?

Небесный писатель видит протяжённую улицу, населённую собственными персонажами, и каждый из них в чём-то дорог ему...

А это кто — совершенно неожиданный?

Внутри прозрачного колеса передвигаясь, с весёлой клоунской внешностью катит некто — прямо навстречу писателю...

— Остановись, — улыбается ему Гофман. Тут не надо произносить просьб: колесо останавливается, человек, пестро одетый, выходит. — Кто ж ты такой?

И это уже спрашивает Гофман; приятно, когда возможности расширяются.

— Я твой гипотетический персонаж. Мог бы написать меня, но... не захотел. Или не успел.

— Но — кто ты?

— Я изобретатель такого — самоездящего колеса. Смотри: вполне складывается история: долгие годы в бедности сам разрабатывал чертёж, не сумел никого уговорить сделать, слишком утопическим казался проект, и... сделал сам. Вот катаюсь: мальчишки бегают за мной, а медные яблоки сыплются с небес... — Гофман поднял глаза, но там, высоко-высоко, сияли запредельные цветы разных расцветок и не было никаких чреватых яблок. — Так я покачу? Ведь я выехал из твоего рассказа, и, пожалуй, мне в нём уютнее всего.

— Ага. Давай.

И покатило колесо, переливаясь разноцветно.

А Гофман, воспарив, получил странное ощущение: будто может сейчас, используя то зрение, которое редко у кого есть на земле, соединиться с писателем, чтобы продиктовать ему историю изобретателя самоездящего колеса.

Он обратил взор вниз.

Он видел одного, склонившегося, почти распластанного за столом, другого — у плоской светящейся штуки...

Впрочем, Гофман знал уже, что это — монитор.

Второй сочинитель был боек...

Гофман закружился и полетел вниз, вниз, и вот — он уже за спиной у сочинителя, бодро молотящего пальцами по клавиатуре.

Гофман легко проник в мысли его, мог видеть и вылетающий текст по экрану, и текст был подходящий: об одиночке, который...

Гофман стал диктовать про этого: долго и упорно ладившего свою конструкцию — персонаж получался кругленьким, как клоун: вот он идёт в одну контору — и путь разумеется между домами, формы которых непривычны Гофману, заходит, поднявшись предварительно на лифте, в комнату, предлагает, убеждает...

Только что искры не летели из-под пальцев сочинителя.

Он прервался только для того, чтобы обернуться: будто почувствовал нечто иноприродное.

Гофман рассмеялся, но тот не мог слышать его и погрузился в текст, вновь поверотившись к монитору.

Кругленький, всех потешающий клоун всё ходил и ходил: калейдоскопом мелькали сытые, самодовольные лица, и в них заранее читался отказ...

А вот уже изобретатель, работающий над колесом: вдохновенно, и тут уже совсем не похож на клоуна, но — на творца...

Он катится по улице, и колесо, движимое энергией мысли, сверкает огнями, и дети бегут за ним, мечтая о таком же...

По небу, по одной из дорог катилось колесо, Гофман видел его, а живой сочинитель — нет.

Почувствовав, что рассказ дописан, Гофман, окутав себя радостным, сиреневым облаком, стал подниматься; пролетая мимо изобретателя, кивнул ему:

— Вот рассказ и сочинён.

— Я знаю, — ответит тот и покатил дальше.

Стоит ли возвращаться домой или — предпринять очередное путешествие?

Области паров клубились, напоминая живые кусты и вместе своеобразные жилища; они клубились, играя опаловой белизною и чем-то ещё — таким волшебным, что даже Гофман растерялся.

Можно просто созерцать: послышалось — доносилось из их недр, что открывались вдруг, и мелькали там золотые молнии.

Это мысли, понял Гофман, но — чьи?

И также понял, что здесь — необязательно должны быть чьими-то, ибо вполне могли существовать сами по себе.

Молнии были объёмны, иногда намечалось нечто вроде руки, прозрачной и очень сильной, и такая отправляла их в пространства низин...

Кого-то озарило...

Огромный зверь возлежал на поляне — расступившиеся облака паров показали его: он был зверь и не зверь, и поляна, покрытая золотистой травой, фоном выдавала великолепный, из разноцветных растений лес; а зверь был... бывшей дворняжкой: размером со льва, очень красивого, и в глубоких его, добрых глазах светилась мысль, превосходящая человеческую.

Посмотрел на Гофмана.

Сообщил волнами света: «Я должен сообщить о себе хозяину, безутешным оставшемуся на земле...»

И действительно: Гофман увидел — человек, сидящий на диване в одинокой комнате, человек пожилой, донельзя одинокий, тупо глядящий перед собой, всё вспоминающий и вспоминающий свою дворняжку, и вот вдруг в мыслях — не во сне! — видит роскошное, высокоумное существо, возлежащее на сияющей поляне, и радостно ему становится... на миг или два.

Передал, понял Гофман и спросил:

— Все животные становятся здесь такими?

— Не все, но верные и добрые — обязательно. И твой Мурр отражается здесь в нескольких ракурсах...

Гофман подумал, что не видал его, а надо бы...

Тень, лёгшая на облака, улыбнулась создателю.

— Я продолжаю свои записки, ты не возражаешь?

— Нет-нет, что ты. И как они?

— О, ничего сатирического — кого тут изображать огнями и лучами сатиры? Глубокомысленные весьма.

Свитки разворачивались, текли письменами, играли оттенками мысли.

Мысли били молниями в области паров, и происходившая реакция обнажала нечто неизданное.

Спустившись, Гофман увидел: живые цифры и люди в белых одеяниях, указывающие им, как расположиться...

Ему стало интересно.

От лица каждого существа исходило мягкое свечение; Гофману пояснили, что

производится счёт людских поступков.

— Всех? — заинтересовался он...

— Некоторые остаются без внимания и учёта: в случае, если главное делалось. Только подобная арифметика отлична от земной. Здесь не учитывается капитал, но — мысли, рождавшие формулы, стихи, музыку...

— Разве это поступки?

— Конечно, сущностно они превосходят всевозможные усилия, направленные на обретение богатства...

Жаль, на земле так нельзя, подумал...

— Ничего, — тут же услышал ответ. — Равновесие всё равно достигнуто, а земное пребывание — ты же знаешь — длится секунду...

— Почему ж там, на земле, мы так расстраиваемся, отчаиваемся, впадаем в тоску?

— Потому, что находитесь в плену стольких иллюзий... Их уносит только та, молодая красавица, ты её знаешь.

И Гофман вспомнил смерть, как встречался с ней в своём бедном жилище, убедившись, что ничего страшного в ней нет.

Он вернулся в свой пряничный домик, чтобы записывать всё, пережитое за квант времени: столь же сияющий, сколь и длинный.

Птица Рух пролетала за окнами: её размеры превосходили всё виденное на земле, и слоны, размещавшиеся на её крыльях, сияли мудрою белизною...

Слоны волшебные?

Чуть замедлив движение, птица Рух повернула огромную голову, и Гофман понял её приглашение, и из-за удобнейшего стола легко переместился на одно из крыльев...

Каждое перо было...

Однако слон, легко пружиня, подлетел вверх и тут же приземлился, довольно задрал хобот.

Гофман был маленьким среди них и — не особенно, ибо мог воспарять, зависать в многомерном пространстве...

— Ты задумывался, — спросил один из слонов, — сколько тут измерений?

Гофман не задумывался.

— А сколько, — заметил другой, — сколько захочешь...

— То-то я смотрю, — молвил Гофман, — что время здесь будто не идёт...

— Да-да, на земле как можно определить время? Как поток сменяющихся событий.

А здесь оно — константа, постоянное...

Мир раскрывался внизу оживающими полосками огней.

Свет брызгал во все стороны.

Всюду шло движение: и плавная птица Рух, рассекая многомерность и сама становясь ею, легко превратилась в домик Гофмана, где он, сочинитель, сидел напротив своего любимого архивариуса, ставшего вдруг молодым.

— Я утратил привязанность к старости, — сообщил архивариус.

— Так легче? — Гофман не задумывался, молод ли он здесь сам.

— Пожалуй. Из фантазии я, как видишь, переместился в заоблачность и не жалею об этом.

— А твои архивы?

— О, с ними всё в порядке. Они остались в твоих книгах, в моём сознании, в зеркалах вечности живут их отражения, и новые рукописи растут, постепенно зрея, набираясь сил...

Кофейник, возникший в воздухе, наполнил фарфоровые чашки.

— Если сохранилась память о прошлом, можно попить кофе, — сказал архивариус.

— А вот спать здесь не нужно: достаточно посидеть в цветах, послушать их музыку...

В пространстве домика сконденсировался кот: вернее, его улыбка.

— Не стоит переоценивать возможности кофе, — сообщил чеширец. — Он может уйти. Как время.

Кот пропал.

Кофе плавными ручейками вытекал в окошко...

— А и незачем его и пить-то, — воскликнул молодой архивариус, и Гофман, не успев подумать, как шла ему великолепная седина, услышал: — Смотри-ка, там снимают верхтормашковое кино.

Они полетели...

Струйки кофе, плавно играя в многомерность, превращались в шнуры, входившие в невесомую, плавающую аппаратуру, и огни, вспыхивающие тут и там, свидетельствовали об активности авторов.

Их было много: определишь ли, кто режиссёр?

— А что снимаете? — спросил, удобно разместившись на клубе пара, напоминавшим

кресло, архивариус.

— Кино о Гофмане, — но было неясно, кто ответил.

Камеры работали сами по себе.

Два студента, пересекавшие пространство, поднимавшееся плоскостями, были: один — у которого без конца укорачивались рукава и соответственно удлиннялись фалды, и другой — с волшебной палочкой...

Режиссёр проступил волнообразно из ступков блещущей белизны.

— Не сам ли маэстро к нам пожаловал? — поинтересовался он...

Гофман поклонился.

Архивариус, поймав одну из струек кофе и слепив из неё жука, поднимался выше...

Вверхтормашковое кино подразумевало игру с пространством: оно пружинило, выгалкивая неугодных персонажей: и разлетались, разбрызгивая нечто подобное искрам: бурлеск, страшная бабка, медные яблоки, превращавшиеся в то, что не надо.

Оставалось только хорошее.

— Смотрите! — восклицал режиссёр. — Оно никуда не уйдёт. Оно не сделается плохим: это точно. Маэстро, не хотите ли принять участие?

Гофман, парящий под ручку с хорошим, необыкновенно красив.

— Почему тебя так мало на земле? — спрашивает он.

— Ну, во-первых, не мало, а во-вторых... — оно вздыхает. — Увы, условия земли не позволяют мне распределиться для всех. Вечно остаётся масса неохваченных. Там же как — на земле-то: то власть алчного горшка, то ненасытного денежного мешка. Ты же помнишь...

Камера, перевернувшись вверх тормашками, снимала соответствующее кино.

Режиссёр, возникавший лицом из облака, возглашал:

— Ещё разочек. Пройдитесь...Ой, никак не привыкну... Попарите — взад-вперёд.

И Гофман парил, великолепно чувствуя себя в пределах красавицы-смерти.

Он парил, через какое-то время обнаружив, что забыл про вверхтормашковое кино, и хорошее постепенно растеклось, рассосалось; обернувшись, Гофман увидел, как становилось оно частями сияющий панорамы, внутри которой вспыхивали и переливались огнями высокие башни и ярусы садов величественного города...

Гофман помыслил отправиться туда, но встретился с грустной дамой: область живых цветов служила ей средством передвижения.

Она была молода, и вместе — словно опыт чувствовался за нею...

Гофман обратился к ней, поражённый грустью ею, он обратился просто:

— Что с вами?

Просто, как друг...

— Ах, — она подняла на него глаза, — вы знаете, я оставила на земле сына...

— Он молод?

— Нет, он совсем не молод, по земным меркам, но в душе он остаётся совершенным ребёнком. Мы никогда с ним не разлучались. Он писатель, и он так трудно пробивался в печать, и я помогала ему, а потом, хоть и прожила долго, вынуждена была оставить его...

— Вы разве не можете увидеть его?

— А вы умеете видеть тех, кто остались там, внизу?

— Да, умею...

— А я... ещё, наверно, нет...

— Вы недавно тут?

— Пожалуй, да. Здесь не ощущается времени.

— Думайте о вашем сыне. А я попробую связаться с ним.

Он ощутил волны её мыслей: они были золотисты и нежны, хоть и перевиты лентами грусти, и, используя их, Гофман скользнул вниз, чтобы оказаться — незримым, конечно — в комнате.

Небольшой комнате, где на кровати против старинного, массивного, в завитках украшений буфета сидел пожилой человек, в душе оставшийся ребёнком, и смотрел на фотографию матери — упорно, долго.

Гофман узнал её: она была такой же молодой, как в потустороннем мире.

И тогда он, видя заплаканное лицо человека, влился во взгляд мамы, и тот словно ожил, и сиятельная плазма потекла в душу сына.

— Мама, ты здесь? — восторженно воскликнул пожилой человек.

И пусть — «Конечно, сынок!» — он воспринял как ответ собственного мозга, но ему всё равно стало легче...

Гофман вернулся.

Дама ждала его.

— Вы знаете, я почувствовала. Он смотрел на мою фотографию, да?

— Да, и я...

— Я поняла... Спасибо вам. Жалко, я сама этого не умею.

— Научитесь, — улыбнулся великий сказочник и, глянув ещё раз вниз, увидел, что сын дамы, некогда писавший фантазмагорию про него, Гофмана, сидит уже за монитором, сочиняет...

Мониторы тоже напоминают плоскости пространства.

Можно ли их расспросить об этом?

Гофман входит в пространство, заполненное великолепным однообразием существ, напоминающих подсолнухи, и лица их — торжественные, но и простые — обращены ввысь.

Здесь все устремляются ввысь — слышит Гофман плавное дыхание одного из существ.

Гофман нежно втекает в их гущу, и лица некоторых обращаются к нему.

— Нам нравятся надписи, какие мы может запускать по нашим экранам...

Гофман читает:

«Путь сюда есть возвращение домой».

Потом:

«Здесь всё намного ярче...»

Гофман входит в свой земной кабачок: цвет превалирует коричневый: столы, лесенка.

Гофман садится за стол, и хозяйин кабачка, ничего не спрашивая, приносит кружку пива.

Гофман делает записи на листках, пьёт пиво, прерывается, чтобы спросить шнапса, и не знает, отчего пьянеет больше — от собственных фантазий или алкогольных напитков.

Появляется надпись на одном из экранов:

«Помнишь?»

Конечно, кивает Гофман, погружаясь в глубину существ, что покачиваются тихо, издавая музыкальное, чудесное...

«Мониторы тоже похожи на части многомерного пространства» — такова последняя надпись, которую читает он на лице-экране.

Башня, возникшая перед Гофманом, тянулась ярусами этажей выше и выше: с определённых изливалось сияние, другие были более тусклыми...

— К вопросу о многомерности, — возгласила башня. — Предлагаю перемещение в наши пространства, чтобы мог удостовериться, как интересен сей вопрос.

Гофман, не противясь, поплыл за башней, обладавшей и твёрдостью, и пластичностью.

«Вероятно...» — начал думать Гофман.

— Да-да, покачулась башня — именно это и есть вариант многомерности.

Город — так хотелось его назвать — жил особенной жизнью: перемещались башни, двигались, змеясь лентами, улицы, всё жило, пенилось, клубилось.

Но — одно входило в другое: улица, изгибаясь лентой Мёбиуса, который благосклонно наблюдал за ней, становилась частью башни, и размах пространства, увеличиваясь постоянно, прирастал новыми планами строений.

— Мир строений? — поинтересовался Гофман.

Улица замедлила движение, край её поднялся, и на нём обнаружилось лицо.

— Ну да, других существ тут нет.

— Существенных существ, — пискнул кто-то снизу.

— Кто ж это?

— Вероятно, гном, — ответило лицо улицы. — Они иногда проявляются тут. Но — в них нет необходимости. Просто любопытные.

— Как я?

— Вы — гость. Так вот: здесь мы изучаем многомерность: мы — строения, плоскости, улицы, живущие своим космосом, чтобы... поделиться им...

— А с кем?

— Со всеми желающими. С вами, например.

Улица, словно свернувшись, изобразила нечто похожее на восьмёрку бесконечности и потекла себе, чтобы стать в отдалении башней, тяготеющей к новым мирам.

А Гофман пока отправился к себе.

Гофман сидит за столом, но не пишет.

Он вспоминает... часы: и тотчас, согласно мысли, на столе возникают: красивые, какие делали в Германии его времён, все в фарфоровых завитках украшений.

Они показывают два часа дня, но, очевидно, стоят.

Гофман смотрит в лицо циферблата.

— Странно, — произносит он вслух, — никто здесь, какие бы области ни были, не ощущает времени. Столь важное там, внизу, оно словно не существует...

Часы кашляют.

Гофман смотрит без удивления.

— Это мы не кашляем: откашливается. А как ты хотел? Тут столько временных потоков, что, соединяясь, они и дают всеобщую восхитительную лёгкость.

Нечто кружится за окнами.

Гофман смотрит: волнообразные дуги, потом более чёткие потоки, потом один из них словно обретает лицо: как было с улицей — и смотрит на Гофмана.

— Да, да, я один из временных потоков. Могу остановиться на мгновение.

— А... тебе... вам...

Лицо легко улыбается:

— Любое обращение подойдёт.

— Тебе не сложно соединиться с другими?

— Нет, мне... запросто. Это тебе, когда жил там, внизу, было скучно двигаться из прошлого в будущее: всегда, всегда. А здесь, видишь, как здорово: подумал о часах, и вот они.

Лицо исчезает, поток, убыстрившись, сливается с другими, и мерцает сплошное пространство света за окном.

Гофман смотрит на часы.

— Вы существуете? — интересуется он.

— Конечно. Но только пока ты о нас думаешь.

— Вы переместились из...

— Считай, что ниоткуда. На земле сейчас век, слишком удалённый от того, в каком ты жил, и такие, как мы, реальны только для коллекционеров.

— Но вы не ходите.

Часы издают звук, напоминающий зевок.

— Не-а. От ходьбы устаёшь.

Гофман подпирает голову, всё ещё смотря на часы.

Они красивы.

Они молчат.

— Значит, — вслух произносит Гофман, — всё, что случается здесь, словно происходит сразу во многих местах...

Часы тают в воздухе.

За окном появляется улыбка Чеширского кота.

Потом превращается просто в рот, головы нет.

— Разумеется, — говорит кот. — Ведь ты легко участвуешь теперь и в прошлом, и в будущем.

И рот пропадает.

А Гофман выходит в сад, полный дивными цветами.